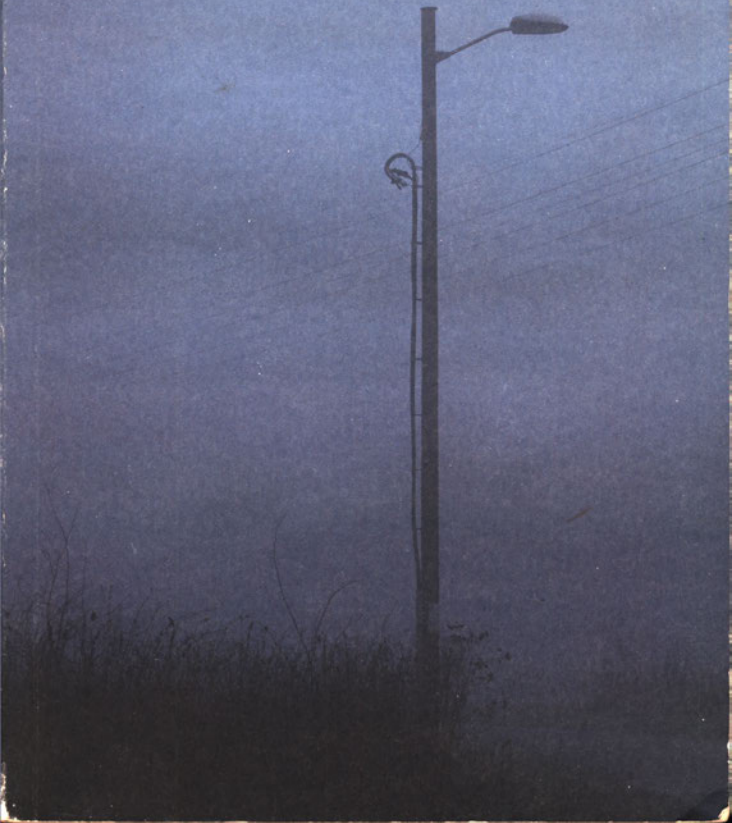


Тур Ульвен  
Расщепление



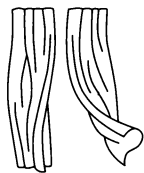
— Все это мне напоминает знаете что? Прозу  
Тура Ульвена. Ты его читал, Карл Уве?

Я кивнул и опустил глаза. Никто не должен был  
заметить, как кровь забурлила в моих жилах,  
как заиграли трубы и всадники ринулись в атаку.  
Тур Ульвен, величайший из всех.

Неужели мои тексты больше, чем простая  
развлекательная беллетристика? Неужели хоть  
что-то в моих писаниях может напомнить Тура  
Ульвена? Кровь кипела, радость с ревом летела  
по нервным путям.

Карл Уве Кнаусгор  
«Моя борьба. Любовь»





# Tor Ulven Avløsning

Roman

Gyldendal Norsk Forlag

# Тур Ульвен Расщепление

Роман

носорог

УДК 82-31  
ББК 84(0)6  
У51

Издание осуществлено при финансовой поддержке NORLA



Ульвен Т.  
У51 Расщепление: Роман / Пер. с норвежского Н. Ставрогиной  
под ред. С. Снытко. — М.: Носорог, 2020. — 128 с.

ISBN 978-5-6041497-8-2

Тур Ульвен (1953–1995) — норвежский поэт, прозаик и переводчик, признанный на родине классиком. Его единственный роман «Расщепление» (1993) — экспериментальное повествование, сплетенное из голосов 15 не связанных между собой персонажей, каждый из которых, погружаясь в воспоминания, наблюдения и фантазии, пытается представить свою жизнь другой или тоскует по чему-то недостающему. Внутренние монологи персонажей сливаются в своего рода симфонию, в которой каждый голос звучит резко индивидуально и в то же время универсально. Такой способ повествования, напоминающий о романах Клода Симона, сам Ульвен называл «индивидуальными вариациями на безличную тему». Предлагаемое издание — первая книжная публикация прозы Ульвена на русском языке.

В оформлении обложки использована фотография Глеба Симонова из серии *Dag og Natt* (2016–2017)

© Gyldendal Norsk Forlag AS 1993 [All rights reserved]  
© ООО «Мамихлапинатана», издание на русском языке, 2020

Некое волнение, как бы легкая нервная дрожь, то и дело пробирающая свет (или темноту), ветерок колышет края занавесок, впуская тусклое свечение летней ночи, тонкая полоска, едва появившись, исчезает в считанные секунды, потом какое-то время темно, а там новый порыв и опять темнота; и так каждый раз, когда сквозняк (а он нарочно устроил сквозняк из-за сильной жары) приоткрывает промежуток между занавесками, которые зыблются, вздуваются (будто занавес, за которым снуют актеры или рабочие сцены), а затем, опав, снова повисают относительно неподвижно, наподобие складок на юбке. Юбка с глубоким разрезом, за которой спрятан весь мир. Казалось бы, стоит лишь открыть дверь и выйти — и найдешь все, решительно все.

Темно. Он лежит в темноте, почти не шевелясь, неподвижно отходя ко сну, на покой. Он свыкся с ней, освоился, он свой в темноте, той непродолжительной тьме, которая наступает, когда шторы задернуты, а ночник он еще не включил. Если все стоит на привычных местах, то можно, вот как сейчас, довольно уверенно добраться от окна до постели. Впрочем, это не настоящая ночная тьма, а так, полутьма, сумерки; в верхних окнах многоэтажки по-прежнему ярко пылает отраженное солнце, а тьма, или полутьма, или тень, сгущаясь снизу, медленно ползет (знает он) вверх по этажам, от одного ряда окон к другому, как по уровнемеру: вот-вот дойдет доверху. Сегодня вечером домашний запах показался ему чужим, как в гостях, но теперь он вновь различает успокаивающий металлический дух ружейного масла; само ружье стоит, как обычно, у кровати на расстоянии вытянутой руки, заряженное, как обычно. Он подготовлен. Одно плохо — патроны эти всего-то в два раза моложе его самого, то есть лет им уже сорок с лишним. Быть может, пора раскошелиться на новые. Но если он ими не воспользуется, то и радости от них никакой, а значит, деньги будут пущены на ветер.

Жара что дома по ночам, что днем на улице. Он мог бы пойти к морю. Жалее ли он, что не пошел? Он не знает. Наверное, купил бы в киоске пачку печенья с начинкой (только его надо слегка размачивать во рту) и бутылку газировки, потом долго и с трудом спускался бы к пляжу, где уселся бы на траве и, отложив трости с курткой и засучив рукава рубашки, ел печенье и потягивал газировку, не спеша, с наслаждением, глядя на набегающие волны и чувствуя ветер в волосах или, вернее, на лысине, запах соли, йода и прелых водорослей. Он помнит, как был на море в последний раз, лет десять тому назад, он тогда еще кое-что заприметил (острота зрения будто компенсировала ему отсутствие гортани), поначалу этот предмет смахивал на бутылку (с письмом?), потом на портсигар, подгоняемый ветром с моря, но в итоге оказался всего-навсего брусом, обточенной деревяшкой, которая в конце концов прибилась к берегу и осталась покачиваться на волнах, ударяясь о камни у воды: не принеся никакого послания, гладкая, без малейших следов от выпилившего ее инструмента. Он помнит, как отрадно было сидеть и наблюдать за этой пустяковиной, дрейфующей к берегу, будто надо лишь подождать — и что-нибудь да приплывет, пусть бессмысленное, незначительное, но все-таки хоть деревяшку — а принесет, прибьет, пригонит, нужно только дожждаться, думает он, да это же он сам, он и есть брус, стучащий о прибрежные камни тем летним днем десять лет назад. Нет. Это не он. Он живой. Сидит и глядит на брус в воде.

Нет. На брус в воде он глядел десять лет назад. Или семьдесят три года назад. На пляже. Его рука скользнула вверх по ее бедрам, под платье, и так далее, нет, не то, думает он, но он видел, как отблески от яхты пляшут в ветвях и листьях, пропадают на мгновение и появляются вновь, нестерпимо медленно, и чуял едкий запах горелых сосисок, плывший от разведенного выше по течению костра (от которого к тому времени осталась лишь тлеющая грудка красно-оранжевых

головешек, откуда иногда с треском вылетал сноп вьющихся искр), и он рад, что все это в прошлом.

Нет, не рад. Взять, к примеру, яблочный огрызок или какой-нибудь гниющий фрукт или овощ, который сморщивается, скукоживается и усыхает, и точно так же с возрастом все больше сморщивается, скукоживается и усыхает человеческое тело, так что, подумалось ему, наименьшее общее кратное для фруктов (или овощей) и людей можно найти лишь в увядании. Он вспотел, особенно взмокла спина, липкий пот стекает по коже, как патока. Однажды он прочел где-то про художника, который разместил на своего рода вешалке длинную гирлянду выкрашенных белой краской бананов, сплошь одинаковых и искусственных, за исключением одного, и за время выставки один из бананов — ясное дело, настоящий — начал подгнивать и этим себя выдал, а прочие, искусственные, оставались, разумеется, такими же белыми и красивыми. Нет, никакого пляжа сегодня. А когда был последний раз? Месяца четыре назад. Значит, он не выбирался из дома уже четыре месяца. Каждый раз целая авантюра. И все же оно того стоит. Только не зимой, слишком опасно. Но после четырех месяцев, а то и полугода с одним и тем же видом из окна впечатления непередаваемые. Не так уж и важно, что именно увидеть, лишь бы что-то другое.

Так-то оно так, но только не в телескоп — гироскопическую подзорную трубу, укрепленную на массивной подставке, с небольшой платформой-подножкой и прорезью для мелочи (пока не заплатишь, ничего не видно, он это знает; монета со звоном падает в приемник и производит эффект внезапного «ага!», открывая нечто совершенно новое, невероятное, выставленное на обозрение в увеличенном виде, непристойно близко, за деньги; он воображает себе слепца с дребезжащей коробочкой на животе, вынужденного все время подбрасывать в нее монетки, чтобы на минуту-другую прозреть, все новые и новые монеты, и всякий раз, как поток их иссякает, он

полностью слепнет, пока опять не разживется мелочью; зрение не бесплатно, оно сдается напрокат, и в темноте он тихонько смеется себе под нос, думая об этом, к счастью, никто не услышит его свистящего, сдавленного шипения — смеха без гортани). Нет, подозрительная труба не годится. Во-первых, на крошечной платформе ему трудно будет устоять (это, в сущности, просто приступочка), а во-вторых, он до того иссох и согнулся, что еще, чего доброго, не дотянется до окуляра, и к тому же пришлось бы, вероятно, выпустить из рук обе трости, одну так уж точно, чтобы бросить монетку.

Стало быть, невооруженным глазом. Зато можно облокотиться на один из столов на террасе, типичный для летних кафе металлический столик, покрытый белым лаком, — такой столик, если по нему стукнешь, издает гудение, — и устроиться на складном стуле, представляющем собой раздвижной железный каркас с деревянными планками, и вот, расположившись на таком стуле, жестком, конечно, и неудобном, в тени пластикового зонта с бахромчатым краем и рекламой прохладительного напитка, он выпил кофе и съел вафли с маслом и земляничным вареньем (правда, ему пришлось трижды по пунктам повторять свой заказ молоденькой девушке за прилавком, причем на третий раз он заметил, что она и сама безотчетно произносит слова одними губами, как будто она чревовещательница, а он ее кукла, а еще ее явно смутило и перепугало его жабье бульканье и кваканье). Жужжавший на прилавке вентилятор приятно освежал, поворачиваясь из стороны в сторону, а он стоял в пустом кафе и слушал позвякивание тележек с посудой, доносившееся с кухни. Когда он снова вышел на улицу, ветер первым делом сдул обертки от рафинада, которые он не успел скомкать.

Прикроватный коврик не слезил и в этот раз, так что ему удалось без приключений опуститься на кровать и растянуть рубашку, полегоньку, каждая пуговица — уже целое дело

для негнущихся, дрожащих пальцев, крохотный гладкий кружочек, так и норовящий выскользнуть, но он все-таки справился, даже сегодня, несмотря на льющий градом пот и почти непроглядную темень, или полутьму, или тень; какое облегчение каждый раз чувствовать, как упрямая пуговица понемногу высвобождается из тугой петли и, наконец, выскакивает легким рывком, а рубашка на груди медленно, но верно расходится посередине. И вот он уже лежит в постели, в темноте, у той стены, где располагается дымоход. Сначала внутри трубы раздается несколько сильных глухих ударов, затем быстрый прерывистый шорох, потом все заново и, наконец, гулкие шаги трубочиста, спускающегося по чердачной лестнице; обычно он приходит рано утром, а все эти звуки производит его оборудование: железный шар на цепи, к которой приделан пучок эластичных спиц, — эту метелку шар утаскивает на самое дно, чтобы она вычистила сажу, пока вся конструкция: шар, цепь и щетка, — будет подниматься обратно, а слой сажи, растертой до более или менее порошкообразного состояния, осыплется в подвал, откуда ее в конце концов выметут через специальное отверстие. Но не сейчас. Он приходит весной, осенью и весной, дважды в год. Чем старше, тем менее взыскателен человек становится по части развлечений. Кто знает, услышит ли он еще громохание инструментов трубочиста.

Конечно, лучше потеть, чем мерзнуть, думает он, но и потеть тоже плохо. Из-под зонта на террасе кафе ему видно было почти все, как будто на карте или с высоты птичьего полета, и казалось, что песок не поднимался постепенно со стороны моря, а именно это, как известно, происходило с ним на протяжении многих столетий, а вязкой, гладкой стеклянной массой сполз по склону и застыл в прибрежной низине, у залива, где сквозь знойную дымку виделось множество крошечных белых, обманчиво неподвижных парусов в окружении черных с прозеленью массивов суши; и только не спуская глаз с одного из парусов можно было заметить, что расстояние

между яхтой и, например, каким-нибудь из островков постепенно сокращается, пока она вовсе не скроется за ним.

Сейчас темно. Но это еще не крошечная тьма, поскольку свет пробивается сквозь шторы — в узкую полоску посередине (всего лишь пара сантиметров, а складки по обе стороны от просвета проступают толстыми черными прожилками, сужаясь в местах, где ткань загнулась внутрь или наружу) и сквозь сам материал, так что собственно рисунка (стилизованные клоуны, морские львы, цирковые лошади и слоны, повторяющиеся через равные промежутки) почти не различить, как будто он вылинял. Зато теперь ты видишь кое-что такое, что обычно остается незаметным, особенно когда в комнате светло, а на улице темно (а теперь темно в комнате и светло на улице), — узор самой ткани, все эти пересекающиеся нити, из которых сотканы занавески, примерно как когда тебе через голову натягивают свитер, а ты упираешься и сквозь ткань тебе виден свет, но не видно того, что снаружи, а от дыхания на одежде остается влажное пятно, которое ты, когда голова наконец-то протиснута (с усилием) в ворот, ощущаешь на груди. И тут же о нем забываешь, а когда спохватишься, его уже и след простыл.

Это еще не крошечная тьма, но все-таки стало темно, когда большим пальцем с длинным красным ногтем она нажала на выключатель (похожий на маленький круглый носик, который слегка вытягивается, когда гасят свет), захлопнула книгу и наклонилась к тебе, причем ее жемчужные бусы скользнули в ложбинку у основания твоей шеи, стало холодно и щекотно, так что ей пришлось придержать их свободной рукой, пока она прижималась своей щекой к твоей, и ты уловил аромат ее духов и слабый запах сегодняшнего обеда (бледно-серый форикол<sup>1</sup> тошнотворной склизкой консистенции, с жестки-

1 Традиционное норвежское блюдо: ягнтина, тушенная с капустой, черным перцем и пшеничной мукой. (Здесь и далее примеч. пер.)

ми кусками хрящеватого мяса и плотными горошинами перца, которые, если их раскусить, будто взрываются во рту, как петарды, начиненные вкусом; и каждый раз ты не можешь удержаться, хотя тебе постоянно напоминают, что перец надо выплевывать и класть на край тарелки); в общем, фориколом пропахли и волосы, и одежда. Если бы она согласилась закрыть дверь не полностью, немного света попадало бы из гостиной, но она непреклонна, говорит, надо привыкать оставаться в темноте одному, иначе так никогда и не приучишься, ведь ты уже два года ходишь в школу, а в темноте нет ничего страшного; так что никакого тебе света из большой комнаты, только чуть-чуть из окна.

Надо соорудить машину. Пожалуй, ты справишься уже завтра, в крайнем случае послезавтра. Можно, конечно, наловчиться прыгать подальше на пол, так что никакая машина и не понадобится, думаешь ты, но какое там, тебя ведь даже не берут на физкультуру; в общем, без машины не обойтись. Что толку убеждать себя, что в темноте все точно такое же, как при свете; она в это, может, и верит, а может, и нет, но это же, как ни крути, неправда, ведь темнота занимает место, заполняет его, а значит, в ней должно что-нибудь содержаться, как, например, столовое серебро внутри ящика или кишашие в земле букашки, которые мигом разбегаются, стоит приподнять трухлявую доску, хотя темноту можно представить себе и пустой, как воздушный шар, наполненный черным воздухом. Но каждый раз, когда ты спускаешь босые ноги на пол (на коврик с изображением мышонка в штанишках), тебя охватывает все тот же страх, поскольку между полом и дном кровати может что-нибудь поместиться, там вполне достаточно места для худых, костлявых рук с длинными жесткими пальцами (или когтями), которые, растопырившись, того и гляди стиснут твои щиколотки, как тетушки, желающие проверить, насколько ты отощал (их пальцы, будто кандалы, ненадолго обхватывают твои

ноги и отпускают), но уж эти-то не отпустят, а резко вцепятся мертвой хваткой, так что ты, попытавшись встать, загремишь на пол лицом вниз, а потом тебя затащат внутрь, в темноту под кроватью, и страшно даже подумать, что с тобой там произойдет, при одной мысли об этом ладони делаются влажными, так что приходится вытирать руки о пододеяльник; правда, сейчас жарко и, может быть, ты вспотел как раз поэтому, ведь на дворе еще лето. Значит, тебе нужно что-то вроде подметальной машины, с двумя длинными, как у омара, руками, только на концах у них — не клешни, а две большие вращающиеся стальные щетки, а сами руки будут двигаться так, чтобы щетки доставали до любого места под кроватью, и если они действительно что-нибудь найдут и безжалостно выгребут, как уборочные машины весной замечают песок, то агрегат раскроет свою огромную пасть и все проглотит, надежно запрет в блестящем стальном корпусе, щетки останутся, а в верхней части машины замигает красная лампочка и одновременно задребезжит маленький звонок (размером где-то с елочный колокольчик). И тогда самое время вызывать полицию, пускай приходят и забирают то, что сидит внутри, а пока надо следить, чтобы никто по небрежности или из любопытства не открыл переднюю дверцу и оно не улизнуло, иначе полиция приедет зря; но потом, когда чудовище, если его можно так назвать, окажется поймано, ты, наверное, еще увидишь его в каком-нибудь вольере (вроде той круглой бетонной ямы в одном заграничном городе, с высоких краев которой можно понаблюдать за двумя медведями, с рычанием лазающими по камням и исцарапанным древесным стволам), откуда ему тебя не достать, думаешь ты, при всей своей свирепости оно беспомощно, и кто знает, вдруг тебе даже удастся ткнуть его длинной указкой или лыжной палкой, а когда оно взвояет от боли, ты скажешь, что так ему и надо, ни убавить ни прибавить, и что его злому владычеству пришел конец, а под кроватью теперь ничего нет, отныне там пусто, а пустота — значит безопасность.

Это все еще не крошечная тьма, но свет за окном (не солнечный, а так, блеклое зарево без определенного источника) явно тускнеет, так что сейчас освещение отличается от того, которое было совсем недавно, как мокрый шерстяной носок — от сухого, иначе говоря, комнату на глазах заволакивает темнотой, как лужи в лесу зарастают травой, камышом и зеленой тиной, а здесь — черная тина, так сказать, чернотина, комнату затягивает этой чернотиной, но свет по-прежнему сочится сквозь занавески, особенно в щель посередине.

Сейчас лето, но темнеет уже раньше. Наверное, если не шуметь, можно подкрасться к окну и выглянуть на улицу (ведь там, скорее всего, еще день или, точнее, его остаток (поздний вечер), полюбоваться которым ты можешь разве что украдкой, будто дорожкой авиамodelью на витрине), как после посещения в больнице, когда ты стоял у окна и смотрел им вслед, а они не оборачивались. Они не знали, что ты за ними наблюдаешь, и, казалось, говорили о чем-то, время от времени принимались жестикулировать, а один раз даже остановились, посмотрели друг на друга, он оглянулся на кремово-желтое здание (решил вернуться?), но взгляд его уперся во входную дверь, находящуюся под твоим окном, а потом оба начали на глазах уменьшаться, совсем как фигурки из дорожных шахмат, подумалось тебе, и, наконец, скрылись на ведущей вниз лестнице, за живой изгородью, усыпанной белыми шариками (которые издали сливались в млечную дымку). На лестнице и на плиточной дорожке уже никого не было, а ты все глядел туда, в эту пустоту, из которой в конце концов вынырнули две белые шапочки, будто вынесенные бурным течением бумажные кораблики, и две медсестры со скрещенными на груди руками и в наброшенных на плечи ветровках зашагали в твою сторону и вскоре подошли так близко, что пришлось вжаться носом в стекло, чтобы не упустить их, и вот уже ты увидел закрывшуюся за ними дверь (точнее, только треть двери). Но, пока

родители шли по дорожке и еще не успели скрыться за изгородью, в твоей голове пронеслась мысль о смерти; или, вернее, ты понял, что без операции умер бы. И шрам, который теперь слегка свербит у тебя под пижамой, длинная четкая линия с множеством коротких поперечных черточек, красная опухшая кожа, напоминающая молнию на одежде (как будто можно расстегнуть и заглянуть внутрь) или обычный грубый шов (ты — распоротый мешок, из которого что-то выудили, а может, и подбросили что-нибудь, прежде чем зашить как было), — это еще и своего рода штамп, означающий пригодность к жизни, как те голубые клейма, которые ставят свиньям перед забоем, означают пригодность к смерти.

Нитей в ткани занавесок уже не различить, а рисунка на них и подавно (стилизованные клоуны, морские львы, цирковые лошади и слоны, повторяющиеся через равные промежутки), лишь в узкий просвет посередине проглядывает тусклый отблеск дня. Если как следует прислушаться, можно разобрать позвякивание тарелок и столовых приборов о дно раковины и негромко работающее радио, как будто из соседней квартиры. Когда вы поздно возвращаетесь домой с прогулки, ты замечаешь, что одни окна затемнены, а другие освещены, причем светлые четко отграничены от темных и кажется, что эти другие комнаты в квартире, во всем доме — ярко освещенные космические корабли, летящие сквозь темный космос, бесконечно далеко от Земли, от ночи, где остался ты.

Когда угодно. Физические преграды отсутствуют, мешает только запрет. Когда угодно, например, как только желтая полоска между занавесками делается бледно-лиловой (когда зажгутся фонари, то есть скоро), ты можешь, не вставая и подавшись всем телом что есть сил, отчего кожа на шраме натянется, достать рукой до выключателя (круглого носика-кнопочки) и, нажав, ослепнуть от света, который немедленно зальет абжур, твоё лицо, кровать и часть комна-

ты. Хватит с тебя темноты. Время переходить к действию. Ты щелкаешь выключателем, надеясь, что она не нагрянет проверить, спишь ли ты, а ты мало того что не спишь, так еще и включил свет, и тогда она с удивленным, укоризненным возгласом, выдающим глубокое разочарование, зайдет и снова погасит лампу, а ведь твоя машина еще не готова. Поначалу смотреть на светящуюся сферу над головой безотрывно не получается, резкий свет заставляет моргать и жмуриться, как будто в глаза попало мыло, но мало-помалу ты привыкаешь к резкому, слепящему сиянию, и тебе приходит в голову, что если смотреть на него в упор достаточно долго, то ослепнешь, совсем ослепнешь, а значит, больше не увидишь темноты, ни той, что под кроватью, ни какой-либо еще, и станет все равно, горит ли свет или погашен, но тут тебя пронзает ужасная мысль, что, если ослепнуть, будешь видеть сплошную темноту и ничего больше, во веки вечные, темно окажется не только под кроватью, в шкафах, по углам, а вообще везде, темно той самой темнотой, которая притаилась — ты видел — в сердцевине глаза, как лунка во льду, отверстие, прикрытое прозрачной пленкой, и, если ты ослепнешь, его оболочка лопнет и вся тьма, хранившаяся в глазу, внутри головы, хлынет наружу и затопит все и вся.

Дойдя в своих размышлениях до этого жуткого места, ты тем не менее не спускаешь глаз с лампочки, желая убедиться, что все-таки не ослеп и по-прежнему видишь один круг (лампочку) внутри другого (абжура), как бы на плаву, будто что-то удерживает одно внутри другого, ровно между округлыми стенками, точно желток парит внутри пустой скорлупы, повинувшись некоему магнетизму или притяжению, а на матовой поверхности стекла (белой, запотевшей, будто на нее дохнули, а пар так и не улетучился, окаменелый выдох) ты, напрягая зрение, различаешь какие-то буковки и циферки, неразборчивые, тем более что лампочка вдобавок еще и вкручена таким образом, что ты видишь их перевернутыми; знач-

ки эти как бы скачут и мерцают, и кажется, что во всем этом слепящем молочном сиянии можно встретить и более темные участки — сизоватые расплывчатые пятна неправильной формы, про которые тебе известно, что на самом деле это равнины, долины и кратеры лунной поверхности, а самые крупные — это моря (у одного, помнится, даже есть название — Море Спокойствия<sup>2</sup>, а уж море без воды должно быть спокойнее некуда); с Земли кажется, что эти темные участки складываются в некое подобие лица, так называемого Человека на Луне, но ты, не сбавляя шаг, припоминаешь, что в другой части света та же (мнимая) фигура, образованная темными участками, называется Лунным зайцем, да и вообще — нет в этих пятнах никакой фигуры.

Они спят. Ушли искать тебя? Нет. Спят. Спят, придурки, думаешь ты. А все-таки она не полная, внизу слева окружность нарушает узкая тень, будто эту меловую белизну обо что-то стесали (так на круглом обломке газобетона, если им, как мелком, поскрести об асфальт, останется плоский участок) и край стал неровным, как бы изъеденным космической молью (летащей на Луну, как мотыльки на горящую лампочку). Так или иначе, ты хорошо ее разглядел, это вовсе не плоский диск, а, судя по тени с краю, сфера, и ты почти замечаешь, как она вращается вокруг своей оси на фоне иссиня-черного неба ранней осени, над неосвещенным пустырем, к которому ты сейчас приближаешься. Отведя взгляд от неба, на котором различимы лишь несколько редких звезд, ты видишь — в организованном, бодром свете фонарей — ту самую обочину, которую уже видел днем, когда желто-зеленый колючий ворох сухой травы и сорняков еще отбрасывал на песок длинные резкие тени или отражался в лужах, все эти былинки, которые какое-то время продолжают волноваться (от порыва ветра пучки придорожной травы клонятся и тут же распрямляются — по цепочке,

2 Море на видимой стороне Луны.

один за другим, а высокие стебли пригибаются к самой земле и, сильно качнувшись еще раз-другой, постепенно затихают, мощные взмахи сменяются легким колыханием, и до следующей машины наступает почти полное затишье, если только снова не налетит ветер; выглядит все это как волнообразное движение травы вдоль поворота, до того места, где растительность сходит на нет, а узкая дорога вливается в шоссе) после того, как промчится автомобиль.

Трава, еще не полностью пожелтевшая (и сорняки, и отцветшие уже цветы: одуванчики, горошек, полевая горчица, колокольчики), подступает к проезжей части вплотную, отделяемая от асфальта лишь узкой полосой голой земли; все эти растения расползлись из запущенного сада, обнесенного ржавой сеткой. Ты разглядываешь рваную кромку дорожного покрытия с ее трещинами и выбоинами, тут и там попадаются асфальтовые крупинки, отвалившиеся (из-за машин?) от основного полотна: черные неровные зернышки, напоминающие изюм; они лежат на относительно мягкой прослойке из песка, земли и глины, где при ближайшем рассмотрении можно, помимо человеческих следов, найти отпечатки автомобильных шин (у самого асфальта), мотоциклов, детских колясок, сумок на колесиках и так далее; но сейчас, этим поздним осенним вечером, на глаза не попадает ничего, кроме полустертого велосипедного следа, перерезающего высохшую лужу (несколько дней назад был дождь), этих двух характерных линий, будто бы независимых друг от друга: одна почти прямая, а вторая пересекает ее, обвивается вокруг первой, как червь, и вместе они напоминают аптечную эмблему с двумя переплетающимися змеями или изображения молекул ДНК в виде спиральных веревочных лесенок, какие ты видел в учебниках, этого наследственного кода, который и определяет, достанутся ли человеку курносый нос, зеленые глаза, заостренные уши, большие ступни, жидкие волосы, кривые ноги, узкий рот, неровные зубы, бычья шея, покатые плечи,

толстый зад, низкий уровень интеллекта, низкий лоб, уменьшенный объем легких, заячья губа, дурной запах изо рта, куриная грудь, брюшко, гуттаперчевая (или, наоборот, сутулая) спина, карликовость, визгливый голос, веснушки, плоскостопие, костлявые и холодные (или, наоборот, мясистые и потливые) кисти рук, искривленные пальцы на ногах, близорукость, хромота, усиленное потоотделение.

Крошечные комочки грязи в ее складчатом, как головка салата, пупке сильно тебя поразили, и, пока она была в отъезде (отпросилась в школе, хотя шел последний, самый важный год), ты все гадал, можно ли ей об этом сказать; в последнее время эта проблема никак не выходит у тебя из головы, но сейчас ты хочешь об этом забыть; и сразу же забываешь. Эти ужасные ядовитые железы замедленного действия, принадлежащие микроскопическим змейкам наследственности, которые притаились, незаметные, невидимые, сами не ведающие о своей роковой роли, пока не наступит момент рождения и тогда-то, думаешь ты, они развернутся в полную силу и определят, суждено ли человеку (по закону всеобщей тенденции к максимизации красоты) прожить свою жизнь *красивым* или *уродливым*, или же средненьким, в неопределенности, которая в зависимости от более или менее случайного наблюдателя оказывается либо красотой, либо уродством, либо ни тем ни другим (хотя верить мы, конечно, склонны тем, кто утверждает первое, но *уверены* не бываем никогда). И вряд ли можно усомниться, что те, кого этот косметический расовый закон определил в категорию безусловно и безнадежно *уродливых* и кто как будто смирился со своей участью, в конечном счете, когда мужество на исходе, все-таки надеются встретить того, кто опровергнет этот вердикт, заключив, что *на самом-то деле* они красивы или хотя бы способны казаться таковыми другому человеку («как *по мне*, ты красивый»), да чего уж там — что они могут быть красивы вполне реально и объективно.

Глухой равномерный топот множества невидимых лошадиных копыт по гравийному покрытию, лишь этот стук — и еще какие-то разрозненные звуки, как бы разлетающиеся каплями от горного водопада, взмывающие над мерным топотом бегущих лошадей: скрип гоночных колясок, шелканье хлыста, ржание, храп, пронзительные выкрики наездников, — ты слышишь, как все эти звуки, прежде всего стук копыт, медленно вырастают из тишины, от прямого участка дорожки до поворота, где они достигают высшей точки, причем все это время колясок не видно из-за дощатого забора, а потом, за поворотом, уже на новой прямой, ослабевают и смолкают окончательно. Сейчас тихо. Но ты, проходя мимо, можешь легко воссоздать эти звуки в памяти.

Приближается какой-то свет, явно от старого дребезжащего велосипеда (который еле тащится и скрежещет всякий раз, когда педаль задевает кожух цепи; динамо-фонарь вспыхивает ярче и белее при каждом нажатии на педали — небольшой рывок вперед, — а затем на мгновение желтеет и бледнеет, пока снова не надавят), и тебе приходит в голову мысль, диковинная, как бы из музея восковых фигур, вместо людей изображающих идеи, что ведь найдутся же, наверное, и такие, кто охотнее отправится играть на ипподром, делать ставки, богатеть, радоваться богатству или просто щеко-тать себе нервы, получая удовольствие от самой возможности выиграть или просадить целое состояние, нежели пойдет к той, которую собираешься навестить ты, или к такой, как она, и эта мысль о чужом безумии вдруг заставляет тебя расхохотаться, залиться смехом облегчения, нет, скорее сдавленно прыснуть, ведь велосипедист как раз поравнялся с тобой, медленно, натужно крутя педали и задевая со скрипом кожух цепи, и при свете фонаря ты успеваешь заметить его измo-жденное старое лицо под тенью спортивной кепки. Оно напоминает тебе деревянные ступени в бесчисленных цар-пинах и зазубринах, до того стоптанные, что на них рельеф-

но проступают годовичные кольца и сучки; глубоко запавшие глаза почти не видны в темных глазницах, рот с ввалившимися губами открыт, велосипедист пыхтит и как бы что-то жует, причмокивая, а когда вы уже разминувшись, ты слышишь, как он откашливается и сплевывает, будто у него тяжелая легочная болезнь в последней стадии, неизлечимая, но стоит ему скрыться из виду, как ты о нем забываешь.

Как раз там, где ты сейчас проходишь, за несколько недель до этого. В убывающем свете позднего лета все вещи будто бы золотятся изнутри (мягкий желто-оранжевый свет заходящего солнца задевает группу деревьев, выхватывая какой-нибудь один ствол и оставляя другие в тени, затем это яркое пятно в глубине леса или парка быстро смещается вверх, и вот уже свет падает только на самые верхние листья, трепещущие на ветру, а потом темнота добирается и до них). Ты опустился на колени, а она, пошатываясь, держалась за твое плечо, так как теперь, когда ты расшнуровал ее ботинок, стояла на одной ноге (к твоему удовольствию, это напоминало галантные сцены из старых приключенческих романов о временах пышных парчовых юбок и глубоких декольте, аллонжей, мушек, дамских *восторженных восклицаний* и так далее), и ты энергично, как перечницу, вытряхнул ботинок, поддерживая (согнутой ладонью, как бы обхватившей гриф невидимой гитары) ее босую ступню (она была без носков и не хотела испачкаться). Нога была теплой и сухой, а ты, стоя на коленях, видел прямо перед собой заросли травы, высокие, по-прежнему зеленые стебельки, колеблемые слабым ветром в свете низкого, но все еще дышащего летом солнца, наблюдал игру теней, менявшихся при каждом дуновении, осознал тепло ее ноги, глядя на солнечные лучи в волнующейся траве, — и вдруг ощутил, что как бы пропускаешь через себя ток, будто ты был переключателем между теплом ее стопы и солнечным жаром (или наоборот), связующим звеном между ней, вместилищем красоты, и суровой, но бесконечно сложной действительностью вокруг, кото-

рая начиналась с залитых солнцем травинок перед глазами и заканчивалась везде и нигде. Та ли, чью ногу ты держал, излучала озарявший все кругом свет истекающего лета — или это солнце согревало ее ногу? И то и другое.

Трудно ей объяснить. Такое впечатление, что она мыслит иначе, чем ты, более рационально, как бы решая задачи по математике. Ну и что с того, думаешь ты. Болтающийся на бедре светоотражатель действует на нервы, и ты, рванув его со всей силы, чтобы шнурок лопнул, запускаешь этой блестящей пластиковой призмой в сторону пепелища с мыслью, что никто больше не заставит тебя таскаться с побрякушкой, как маменькин сынок. Ищут? Ерунда, прошло чуть больше получаса. Они старые и тупые. Телевизор выключен. Они спят. Спят в уверенности, что ты тоже спишь, тогда как на самом деле, наяву, тебе приходится глядеть под ноги, чтобы не споткнуться и не угодить в грязь, шагая по узкой тропинке (без света фонарей она едва просматривается: более темная полоска посреди темной травы) через пустырь, мимо полусгоревшего коровника с обезображенной провалившейся крышей и грязно-белыми стенами, слабо различимыми в темноте, но ты столько раз, в том числе днем, ходил этой дорогой, что легко дорисовываешь в воображении копать на разбросанных повсюду кирпичках и особенно следы гари над зияющими провалами окон (каждый след — как черный язык, негативный снимок полыхавшего здесь пожара), ты уже видел этот кирпичный остов, уцелевший после обрушения деревянной кровли и напоминающий тебе гигантский пустой ящик для инструментов. Или, вернее, не пустой, а как попало заваленный балками и стропилами, похожими на изломанные рыбы кости, грудами черепицы, целой вперемешку с битой, по-прежнему красно-бурой или уже закоптелой; тут и там попадает всяческий металлолом, вспузырившийся и обгоревший добела или, наоборот, почерневший: пружины от матрасов, железная кровать, бочки, автомобильный кузов (вероятно, последние коровы покину-

ли хлев за много лет до пожара, уступив место всевозможным машинам и приборам, стальные звери почти в буквальном смысле выжили отсюда животных из плоти и крови), покосившийся, дырявый, покореженный огнем, — видел и обгоревшие балки (вернее, их части, не превратившиеся в серый или белый пепел), блестящие, иссиня-черные, как вороново крыло или застывший деготь, и вместе с тем шишковатые, покоробленные, ломкие, растрескавшиеся по линиям древесных прожилок, готовые вот-вот рассыпаться на игральные кости без точек или просто на мелкие неправильные многогранники, и ты, чувствуя, как легкие ботинки намокают в высокой влажной траве, пытаешься представить себе, как выглядел коровник до пожара. Но до пожара ты его не видел, тут уж ничего не поделаешь, приходится смириться с тем, что о некоторых вещах ты можешь судить лишь по их остаткам, ведь ты появился уже потом и, к примеру, не застал войну, так как родился позднее; затем ты подумал, что она, пожалуй, смогла бы рассказать, как выглядел хлев до пожара, потому что прожила здесь не один год, но это, наверное, глупый вопрос, и она скажет только: да хлев как хлев, разве что крыша была на месте, — или что-нибудь в таком духе, а чтобы представить себе это здание до пожара, надо было увидеть его своими глазами или хотя бы на хорошей фотографии.

Ты резко сворачиваешь с тропы, пробираешься сквозь высокую, упругую, сырую траву (отчего ботинки, и без того влажные, промокают насквозь, а их кожа меняет цвет, хоть тебе этого и не видно) и, пригнувшись за кустами, изучаешь дом, вернее, квартиру на первом этаже. Во всех окнах темно, только на кухне заметно немного света, но не от лампы над столом или над плитой, а, по-видимому, откуда-то из глубины жилища, блеклый отсвет из приоткрытой кухонной двери, ведущей, скорее всего, в прихожую (свет сходится у порога в треугольный косой пучок, рассеивающийся и меркнувший в глубине темного помещения).

Холодный, шершавый на ощупь металл толстой водосточной трубы. С опаской глянув на окна, сплошь темные, кроме окна гостиной, в котором виден такой же, как на кухне, слабый отблеск (вероятно, от того же источника?), ты ставишь ногу на раструб и начинаешь карабкаться, поскольку первый этаж, на который ты стремишься попасть, расположен так высоко, что приходится взбираться, а ведь она могла бы жить и на четвертом, проносится у тебя в голове, пока ты, стараясь попадать носками ботинок в щели между кирпичами, подтягиваешься и, рывок за рывком, перехватываешь трубу то правой, то левой рукой, все выше и выше: так выбирают трос, поднимая что-нибудь.

Еще раз, точно так же, как в первый, не громче, и тут ты замечаешь, что мышцы спины и бедер начинают дрожать, что долго тебе в таком положении не продержаться, но осторожный стук в окно вновь остается без ответа, и ты, шурясь, пристально вглядываешься во мрак, где как будто ничего нет, в эту обманчиво пустую темноту, и, лишь когда ты зажигаешь фонарик, который у тебя не в руке, как у детектива, и не на лбу, как у шахтера, а на животе, болтается пристегнутый карабином к куску потертой кожи, закрепленному, в свою очередь, на бандольере (из тканого материала наподобие вискозы, как ремни безопасности в машине), тебе удастся разглядеть края сложенных штабелем железных профилей и всполохи ржаво-бурой, вроде молотого красного перца, пыли, которая устилает весь пол (если можно назвать это полом) слоями то потоньше, то потолще и копится горками по углам, как в обветшалом доме где-нибудь в прерии, который постепенно заматывает песком. Трудно переносить велосипед через высокий порог, одновременно удерживая тугую металлическую дверь, но практики было предостаточно, поэтому ты справляешься (хотя не сразу сообразил, что втащить велосипед через неподатливую дверь проще, чем передвигаться по огромному помещению пешком). Оглушительный дверной хлопок разно-

сится по просторному складскому цеху мощными раскатами, подхваченными каждой металлической деталью и продолжающимися как бы гудеть или петь в течение нескольких секунд после хлопка, подобно колокольному звону, который долго еще слышится в воздухе вслед за последним ударом колокола.

Всякий раз, поднимая правую ногу, ты ощущаешь сосредоточенную в специальном продолговатом кармане комбинезона тяжесть, параллельную твоей голени: там находится свинцовый стержень в черной резиновой оболочке. В отличие от деревянной дубинки, которая бьет в определенную точку и вполне может что-нибудь размозжить, он изогнется при ударе, например, о голову (впрочем, бить по голове инструкция категорически запрещает), так что удар причинит меньше вреда, зато, скорее всего, вызовет нужное действие. Тебе это оружие ни разу не потребовалось. О левое бедро хлопает круглая, как головка сыра, штукавина в неизменном черном кожаном футляре, если приложить к ней ухо, можно услышать тиканье, окуклившееся время, с единственным отверстием, предназначенным для контрольных ключей, но ты-то знаешь, что узкая белая полоска бумаги (вроде телеграфной ленты в старых вестернах, которая под оживленный стук вылезает из аппарата Морзе, а лысый клерк с фирменным зеленым козырьком на голове изучает ее с большим или меньшим интересом в зависимости от того, насколько принятая телеграмма важна для дальнейшего развития сюжета), лента, в общем, медленно вращается внутри часов, и каждый раз, когда ты поворачиваешь очередной контрольный ключ (имеющий собственный код из цифр и букв), на бумажной катушке остается печать, отмечающая, где ты был в определенный момент времени; таким образом, эта похожая на голову эдамера штукавина — своего рода начальник, старший по должности, сопровождающий тебя в ночных обходах, надзорная инстанция, подвешенная на двух ремешках. Сам ты никогда не увидишь ленту. Это прерогатива инспекторов службы охраны.

У тебя визгливый голос. С правой стороны ремня противесом служит квадратная сумочка, опутанная червеобразными прочными кожаными шнурками, с которых свисают штук сорок, если не больше, ключей в связках, и каждый раз, подходя к очередному зданию или производственному участку, ты должен потянуть за нужный ремешок и достать необходимую связку ключей, открывающих пожарные шкафы, въездные ворота, складские двери, офисные двери, двери морозильных камер, двери промышленных и печатных цехов, двери из железа, дерева, армированного стекла, латуни, оргстекла, с ручками из пластмассы, бакелита или нержавеющей стали, противопожарные двери, глухие или с окошками различной величины и формы, бесконечное множество ворот и дверей, которые надо не только открыть, но и тщательно запереть и, прежде чем двинуться дальше, непременно удостовериться, слегка подергав за ручку, что они действительно заперты.

Чуткое желтоватое щупальце света, непрерывно меняющее длину в зависимости от положения фонаря, — гибкий, петляющий, как бы выписывающий всевозможные завитушки фонарный луч блуждает по асфальтовому полу (если, конечно, заасфальтированную поверхность можно назвать полом), скользит по запыленному, серебристо-серому, гофрированным стальным пластинам и балкам самого здания, натывается на пару небрежно брошенных рабочих перчаток или стоптанных защитных сапог, мельком выхватывает пучки арматурных стержней, которые в перспективе изгибаются, будто слипшиеся огромные спагетти, и разошедшиеся, побуревшие от старости доски в пятнах ржавчины (бесконечно непохожие на светлое, пахнущее смолой дерево новостроек). Ты не спускаешь глаз с неверного луча карманного фонарика (велосипедный не работает), чтобы не налететь на балку или торчащее из штабелей железо. Свет падает на отрезную пилу с облупившейся красной краской, приводимую в действие, очевидно,

толстыми гидравлическими поршнями (трудно не изумиться тому, как блестят эти поршни, отполированные и гладкие, как новые, когда луч вдруг выхватывает их из окружающей массы всего изношенного, ржавого, пыльного или дочерна засаленного), поршнями, с огромной силой смыкающими два подвижных лезвия, пока те не перекусят связку арматуры пополам, как цветочные стебли.

Совсем не то, с чем обычно ассоциируется слово «офис»: полированные письменные столы с телефонными аппаратами внутренней связи, гудящая или постукивающая оргтехника, мерцающие компьютерные мониторы, люди в костюмах, которые, прикрывая ладонью телефонную трубку, отрывисто передают информацию кому-либо из сослуживцев: нет, скорее домик или барак примерно посреди цеха; ты берешься за скрипучую, разболтанную ручку, зная, что выключатель находится слева от двери. Ты гасишь фонарик и зажигаешь свет (но между исчезновением одного из источников света и появлением другого содержится миг абсолютной темноты, настолько краткий, что ты не успеваешь его заметить, хотя он все-таки был): письменный стол в пятнах и царапинах, из простой древесины, завален различными бумагами, не слишком тщательно рассортированными по стопкам, некоторые (одного цвета) насажены на соответствующий штырь, телефон, небольшой переносной радиоприемник, пара шариковых ручек (синих) с логотипом компании, а также клейкая лента, ножницы, шпагат и прочие мелкие конторские принадлежности; к столу придвинуто офисное кресло с подлокотниками и регулируемой высотой, края сиденья до того протерлись, что поролон набивки и обшитая шпоном доска торчат наружу; по стенам — товарные описи с инвентарными номерами, таблицы, изображения спортивных автомобилей и полуобнаженных женщин, а также аптечка с выцветшим зеленым крестом. Помимо дополнительного стула из стальных трубок, прочую

обстановку комнаты составляют напольный радиатор, гардеробный шкафчик из серого металла и фарфоровая раковина с зеркалом над ней. Видимо, это из-за умывальника здесь тоже висит контрольный ключ (опасность протечки), прямо рядом с краном, на цепочке, пристегнутой к трубе; ты вставляешь его в свое устройство и поворачиваешь, согласно предписанию, один раз, как и положено, по часовой стрелке, раздастся скрип, будто заводишь старинные каминные часы. Выпрямившись, ты отпускаешь ключ и, услышав, как он звякнул о водопроводную трубу, поддаешься искушению заглянуть в мутное грязное зеркало. Ты мечтаешь о морщинах. Скорей бы твое лицо состарилось.

Ты стоишь там, перед зеркалом, и корчишь гримасы, в полном одиночестве посреди пустынного склада металлоизделий, в пустующем промышленном комплексе, окруженном темной весенней ночью (в своем воображении ты как бы смотришь фильм, снятый с воздуха, с высоты птичьего полета: сначала только крыши и дороги, фонари, весь район, как на карте, затем наезд, все ближе и ближе, камера проникает сквозь крышу склада, потом сквозь потолок конторского помещения — и в конце концов находит тебя, стоящего перед зеркалом, а звука в этом кино нет, оно полностью немое); никто не видит тебя и не знает, чем ты занимаешься, ты наедине с собственным отражением. Но ты не хочешь, совсем не хочешь быть один, тебе хотелось бы, чтобы она, лежа без сна, думала о тебе, сейчас, прямо сейчас, нет, вот бы лучше она вошла, сейчас же, сию минуту, перенеслась сюда волшебным образом, поздоровалась и произнесла твое имя, конечно же, она заметила бы тебя и заговорила с тобой, если бы в небольшом офисном помещении внутри пустого цеха не было никого, кроме вас двоих, тогда, наконец, ты и смог бы с ней побеседовать, без помех, лицом к лицу, не только поговорить, но и взять ее руку, приподнять и сказать: ты поцарапалась, неподходящее тут для тебя место, — и задержать ее

ладонь в своей, а она улыбнулась бы слегка виновато, а потом ты притянул бы ее к себе, обнял за плечи и поцеловал бы, сначала несмело и почтительно, потом настойчивее, но отстраняться она бы не стала, ты гладил бы ее затылок под волосами, целуя в губы (и тут уж тебе точно не придется ничего говорить своим дурацким голосом), запустил пальцы ей в волосы и целовал, сначала осторожный поцелуй в губы, потом вза-сос, все крепче и крепче, и... Ты конфузишься от собственных мыслей. Обрываешь фантазии. Думаешь о том, что людей, как правило, слишком много, они заслоняют друг друга, встают друг у друга на пути; в просторной неуютной столовой или в институтской комнате отдыха она с тем же успехом может поболтать с кем угодно вместо тебя, посмотреть на другого (мужчину) точно так же, как на тебя, но здесь, на складе, если бы она и правда появилась, пришлось бы говорить с тобой и ни с кем другим.

Голос у тебя на редкость примечательный. И, хотя разговаривали вы с ней совсем мало, по нему она пройти успела, а потом, спохватившись, даже покраснела, поскольку сказала она следующее: какой мерзкий у тебя голос, невыносимый пронзительный визг, будто пила, лезвие ножовки, врезающееся в мозг собеседника, — но ты и сам это знаешь, ведь и ты, к несчастью, слышал его, вживую и в записи, с малых лет этот резкий, визгливый голос все портит, когда ты капризничал, взрослые зажимали уши, а когда повзрослел, твоим (немногочисленным) девушкам приходилось — ты замечал — пересиливать желание заткнуть пальцами уши и заорать: не болтай, когда злишься, радуешься или нервничаешь! — а все твой голос, ведь ты мужчина, а голос как у истерички. Лучше уж быть собственным немым двойником, зеркальным отражением высокого и крепкого молодого человека слегка за двадцать, и вообще — не лучше ли всем стать безмолвными отражениями, чтобы больше не приходилось слышать все эти ужасные голоса, заключенные внутри.

Звук такой, точно кто-то быстро и нервно перелистнул телефонный справочник большим пальцем. Ты напрягаешь слух одновременно с мышцами, как будто он тоже мускул, и уже решаешь было, что тебе послышалось (ты ночной сторож и хорошо знаешь, что самые незначительные и безобидные звуки могут наводить ужас, приобретая в темноте и тишине исполинские размеры), но тут звук раздается снова, примерно такой же, пока что невозможно определить, откуда в точности он доносится, чуть протяжнее, чем прежде, а потом опять пропадает, и ты чувствуешь, как жилка начинает биться о жесткую подкладку каски. (Были тут зимой три молодчика вовремя смылись вон видишь следы-то от гвоздодера (он указал на дверь, где действительно были ясно различимы прямые, занозистые вмятины на светлой древесине вокруг замка) они и раньше уже сюда совались сперва залезли во-о-он в то окошко (он показал) но песик мой всегда наготове так что попадись они мне еще я сразу прикажу: куси его, Кинг! и пес налетит и ка-а-ак оттяпает ему от руки клок мяса ну а если вор не сдастся так он и за другую так же цапнет и бандюган еще будет радоваться когда его в полицию загребут (и он довольно ухмыльнулся — твой сослуживец, ознакомивший тебя с маршрутом).) Ты машинально нащупываешь рукоятку газового пистолета, но не торопишься его доставать, из гордости, что ли (или просто из боязни проявить себя дураком и трусом, которая все еще пересиливает страх перед неизвестным звуком, а может, ты, пытаешься успокоить себя, нарочно относишься к ситуации без должной серьезности), и с напускной решимостью идешь прямо на звук (его больше не слышно). Прищурившись, чтобы лучше видеть, ты напряженно следишь за лучом от фонарика, скачущим в ритме стакато, будто удлиненная трость слепого, с места на место, не без некоторой упорядоченности, поскольку ты уже знаешь, где стоят те или иные машины и где находятся шкафы, двери и ворота; кабины огромных грузовиков, припаркованных у въездных ворот, ты тоже обшариваешь фонариком, заме-

чаешь игральные кости из искусственного меха, свисающие с зеркала на лобовом стекле, но необычного ничего. Затем снова раздаётся этот звук, непрерывное хлопанье, и вот, наконец, ты находишь его источник, когда тень в форме смутного комочка отделяется от стальной балки и превращается на лету в кружащий над головой крестик, ты видишь его очертания на фоне прозрачного стекловолокну на самом верху (очевидно, уже и впрямь светает) и, посветив туда, обнаруживаешь, что это птица, которая тотчас же (только черные глазки сверкнули) упархивает глубже в полумрак.

Пришлось бы тогда открыть нараспашку все эти массивные электрические ворота. Теперь она останется взаперти до следующей смены, и, пока часы тянутся один за другим, утреннее летнее солнце будет пробиваться сквозь панели из стекловолокну, освещая все новые детали помещения, а ей придется все так же кружить по замкнутому пространству, как муха в сарае, думаешь ты, доезжая на своем велосипеде (всю дорогу приходилось внимательно следить, чтобы не налететь на торчащее железо) до последнего контрольного ключа, который ты поворачиваешь в устройстве (оно издает неизменный щелчок). Ты открываешь тугую металлическую дверь (почти как та, через которую ты входил с противоположного конца цеха), перетаскиваешь велосипед (с трудом) через порог. Дверь с грохотом захлопывается за твоей спиной (в тишине этот звук кажется довольно громким, хотя и не таким оглушительным, как в помещении: ты представляешь себе, как запертая птица мечется там в испуге под раскаты затухающего эха). Ты на улице, здесь тепло, пахнет мокрой травой, день будет пасмурным, но за то недолгое время, что ты провел на складе, явно стало светлее, ты заметил, как постепенно тускнеет искусственное освещение, судя по резкой, твоей собственной и велосипеда, тени на асфальте под фонарем; ты опять забыл его погасить. Плохой признак. Видимо, ты уснул с зажженным светом и спал то ли с открытыми, то ли с закрытыми и уж

точно с воспаленными, слипающимися, усталыми глазами, но, как только ты сомкнул веки, чтобы наконец отдохнуть, комната начала вращаться, будто диск «колеса фортуны» (отвернувшейся от тебя), безудержно завертелась вместе с горящими лампами, задернутыми занавесками, приоткрытыми дверцами шкафов и разбросанными носками, все помещение превратилось в центрифугу с тобой внутри, тошнота подступила к горлу, как использованная вода, которую стиральная машина изрыгает после полоскания, один в один, думаешь ты, не выключать свет и изо всех сил держать глаза открытыми было единственным способом остановить или, вернее, притормозить, замедлить эту круговерть, но, вероятно, тем же непостижимым образом, что и обычно, ты все-таки уснул, так сказать, с открытыми глазами, тупо уставившись перед собой, как манекен в витрине.

Рука в чем-то белом. Белая рубашка, насколько ты в состоянии разглядеть, с трудом удерживая (прищуренные) глаза открытыми, но воротничок явно расстегнут, а галстука нет; зато брюки, кажется, по-прежнему на тебе (беглый взгляд позволяет в этом удостовериться), как и черные ботинки или, вернее, один из них; эти наблюдения возможны благодаря тому обстоятельству, что пуховое одеяло, вместо того чтобы укрывать тебя, валяется на полу кучей, напоминающей картофельное пюре или тесто. Мгновение поколебавшись (движение застывает), ты убираешь руку, сделавшую было мучительный жест в сторону выключателя, и, ощущая, как головная боль врезается в череп металлической решеткой, свешиваешься с постели, тянешься за одеялом и, ухватившись за кончик, понемногу тащишь на себя; оно кажется тяжелым, будто мешок с опилками или песком, но, как ни странно, тебе удастся подтянуть его к кровати и укрыться. Ты еще не знаешь, какая сегодня погода: промозглая и хмурая, когда все звуки вязнут в снегу, или морозная и ясная, — но заранее ненавидишь все эти утра, тебе претит сама мысль об очередном зимнем

дне, как и о любом новом дне вообще, ты не желаешь, чтобы тебя взяли и вкатили в новый день, будто в операционную, где тебе предстоит болезненное хирургическое вмешательство. Ты снова засыпаешь.

Когда ты просыпаешься в следующий раз, рассвело уже настолько, что можно разглядеть циферблат будильника: три минуты девятого. Не забыл ли ты сходить за покупками? Ты решаешь встать. Не сегодня ли стартует рекламная кампания новых пенсионных счетов? Ты не помнишь. Зато помнишь банковских служащих в серых или темно-синих костюмах, этих крохоборов с неврозом навязчивых состояний, этих анальных личностей без чувства юмора, которые, явившись в офис, с мрачными и важными физиономиями вцепляются в свои одноразовые стаканчики с кофе и принимаются поглощать бесплатную выпечку, способные уловить нотки юмора в обсуждаемых рекламных объявлениях разве что чисто теоретически, зато еще как способные беспокоиться о том, сколько это будет стоить, не будут ли приписаны лишние рабочие часы, нельзя ли что-нибудь урезать, нельзя ли использовать носитель подешевле, эти пуританские скупердяи, ископаемые вычислительные машины времен прижимистого старорежимного капитализма с его Bete-und-arbeite<sup>3</sup> (сакраментальный рассказ директора банка о своем отце, который разбогател потому, что никогда не сорил деньгами, а еще подбирал на улице использованные гвозди, выпрямлял их и складывал в специальный ящик, точно так же как ни одному грошу он не давал пропасть, каждую лишнюю монетку отправлял на счет в провинциальном банке, который впоследствии сам и возглавил, а сбережения разрослись в исполинскую отливающую золотом кучу, настоящий запор из денег, которые он начал ссужать оказавшимся на грани разорения крестьянам и мелким торговцам под грабительские проценты, отчего счет все боль-

3 «Молись и трудись» (нем.).

ше разбухал и ломился, сногшибательная эрекция из золотых монет, устремленная в небо, а он все продолжал подбирать использованные гвозди, даже ржавые, выпрямлять и складывать в свой специальный ящик); ты помнишь этих банковских служащих с их кампанией, которую иначе как унылой не назовешь, но в конце концов поднимаешься с постели, прижимая ладонь ко лбу, как будто это поможет, она потная, хотя тебе холодно. Пытаешься нашарить ногами тапки. Там, где им полагается быть, их нет, да и когда они там бывают (а ей каким-то образом удавалось следить, чтобы тапки были на своем месте). Выясняется, что они оказались задвинуты далеко под двуспальную кровать и нужно наполовину под нее заползти, чтобы извлечь их наружу, что вряд ли возможно с гудящей головой и неслушающимися руками; оглядевшись в поисках какого-нибудь орудия, ты находишь старомодные деревянные плечики (с названием и адресом магазина одежды, откуда они были взяты, поверху на обоих концах, справа и слева, нанесена симметричная, как на гербе, надпись, гласящая соответственно *Костюмы* и *Пальто*, и ты вспоминаешь, что читал когда-то давно о животных, а если точнее, о шимпанзе, которые тоже используют орудия, например стебли растений или палочки, засовывая их в отверстия муравейника, куда не забраться другим способом, муравьи вползают на палочку, и обезьяна, то есть шимпанзе, осторожно ее вытягивает и облизывает, съедая муравьев). Ценой невероятных усилий ты наконец выуживаешь тапки с помощью вешалки: к ним прицепились ключья пыли, окаймившие желтую замшу наподобие лишайника или двух бород.

Ты припоминаешь, что один ботинок на тебе уже есть (и один носок), так что придется сначала снять ботинок, а потом уже обуться в тапки (в обе тапки), а еще можно ходить в ботинке на одной ноге (левой) и в тапке на другой, что, скорее всего, окажется неудобно, потому что у ботинка есть каблук, а у тапки нет и в результате ты будешь прихра-

мывать, а еще можно попробовать найти второй ботинок и ходить в двух одновременно (но это задача заведомо невыполнимая). Ты решаешь все-таки снять ботинок и надеть обе тапки, что и осуществляешь, старательно избегая резких движений. Наконец-то переобувшись, ты обнаруживаешь, кто бы мог подумать, домашний халат под грудой разномастного грязного белья, сползшего со стула бесшумной лавиной, и надеваешь его поверх белой рубашки и брюк, потому что тебе холодно.

Определенный алгоритм, который устойчиво повторяется с небольшими вариациями: последний автомобиль торопливо проскакивает на желтый свет, а следующий, подехавший слишком поздно, чтобы проскочить, послушно тормозит и плавно останавливается, проехав еще чуть-чуть (скорость низкая, а дорога скользкая), но под конец все равно слегка дернувшись и слабо качнувшись на рессорах, а затем этот маневр более или менее равномерно распространяется назад по всей очереди (конца ей не видно), которая из-за этого (с твоей высоты птичьего полета) напоминает неповоротливую, сегментированную гусеницу, сжимающуюся до тех пор, пока все машины не остановятся окончательно на несколько метров ближе к перекрестку со светофором; тем временем для другой очереди загорается сначала желтый, потом зеленый свет, первый автомобиль трогается с места, либо очень плавно, постепенно набирая скорость, либо слегка дернувшись (так же, как затормозившая машина, которая ехала в противоположном направлении), а затем движение этого первого автомобиля распространяется назад по всей очереди, которая из-за этого (с твоей высоты птичьего полета) напоминает сегментированную гусеницу, растягивающуюся на сей раз до тех пор, пока одному из автомобилей в очереди не приходится подчиниться, как только желтый свет сменяется красным, и затормозить, а на перпендикулярной улице не начинается обратный процесс. Вариации заключаются преимуществен-

но в том, что часть машин (большинство) продолжают ехать прямо, тогда как остальные, мигая оранжевыми указателями, сворачивают направо или налево. Из окна все это кажется огромным схематичным крестом (наблюдая за ним, ты поеживаешься, запахиваешь халат и завязываешь пояс), перекладины которого пребывают в непрерывном попеременном движении, будто кинетический памятник на месте аварии со смертельным исходом.

Ты не забыл? При одной мысли, что ты мог забыть, ладони покрываются крошечными капельками пота (вполне заметными, но ты не смотришь), в ноющих запястьях чувствуется покалывающее биение пульса, мышцы беспричинно напряжены, и ты двигаешься несколько скованно, но все-таки двигаешься, в этом надо убедиться, нетвердым шагом ты направляешься на кухню, споткнувшись о кипу газет (так что ее идеальное равновесие нарушается и газеты расползаются наподобие веера), но устояв на ногах, медлишь перед дверцей холодильника и спустя мгновение открываешь ее рывком, отчего внутри что-то (бутылки?) дребезжит. Молоко, норвежский сыр с плесенью, масло, маргарин, кетчуп, швейцарский сыр, йогурт, икра, козий сыр, яйца, огурцы, майонез, баранья колбаса, апельсиновый джем, паштет из тунца, пармезан, каперсы, цветная капуста, соус «Тысяча островов», мягкий сыр, чеснок и шоколадный сироп, а также апельсиновый сок, но ни одной бутылки пива, хотя бы ополовиненной, быть такого не может, ты начинаешь выгаскивать многочисленные стаканчики, пластиковые бутылки, тубики и упаковки и составлять их на столешницу (тупо и растерянно думая о том, что она, если бы все еще была здесь, точно сказала бы, куда запропастились бутылки), чтобы проверить, не оказались ли они по какой-то невероятной причине чем-нибудь заставлены; значит, еще как может: в холодильнике ничего нет, вернее, нет именно того, что тебе нужно, или, выражаясь наоборот, есть все что угодно, кроме самого главного.

В этот момент ты просыпаешься окончательно, то есть трезвеешь, во рту вязко и вместе с тем сухо, как будто твоя глотка — это конец резинового шланга, свернутого жгутом и забитого комьями земли или чем-то подобным, скрученного на манер штопора, и в последней отчаянной попытке ты рывком выдвигаешь сначала один, а потом другой дымчатый нижний ящик, так называемые ящики для овощей, где обычно хранятся разные забытые продукты, гнилая морковь, плесневелые помидоры, раскисшие огурцы, превратившиеся в густую зеленую слизь, и там-то, на дне ящика, лежат, как ни странно (вероятно, ты положил их туда, что называется, из предосторожности, потому что ждал гостей, проще говоря, чтобы на твои запасы никто не посягнул): четыре пузатые бутылки почти без горлышка, запотевшие от холода, и только теперь у тебя начинают дрожать руки, но не так уж сильно, ты без труда откупориваешь бутылку, нет смысла искать чистый бокал, да и грязный тоже, ты пьешь прямо из горла, твоя рука дрожит, как электроприбор, холодное пенное пиво бежит струйками из уголков рта, вниз по подбородку, капает на белую грудь рубашки, но в основном все-таки попадает в рот, пиво, ну конечно же, только идиоты опохмеляются водкой, какая гадость, думаешь ты, они же сразу выbleвывают все обратно, то ли дело пиво, холодное пиво из холодильника.

Оно поднимается и шипит, прозрачные, тоненькие пленки образуют купола и лопаются по краям бокала, почти свисая с них, похоже на поролон, нет, думаешь ты, на что-то живое, находящееся в непрестанном движении, которое, в сущности, представляет собой угасание, так как приток пузырьков газа из жидкости (миниатюрные шарики идеальной формы, молниеносно всплывающие, один за другим, плотным вертикальным гуськом, будто вдоль невидимой нити, совершенно отвесной или слегка наклонной) всегда меньше оттока (тех пузырьков, которые лопаются), ты заме-

чаешь, что мягкая пенная шапка уже проседает посередине, а это значит, как тебе известно, что от дрожащего пенящегося ковра вскоре останется лишь рваная беленькая кромка на внутренней окружности бокала, с отдельными ниточками, протянутыми вниз, к поверхности напитка, где похожая белесая кайма, как морская пена у берега, колыхнется всякий раз, когда ты поднимаешь бокал и делаешь глоток; но пена все еще высокая, лопающиеся пузырьки крупные, и, когда ты подносишь бокал ко рту, шипение слышно отчетливее, а над верхней губой остаются усы из пены, которые ты оттираешь тыльной стороной кисти, отставляя бокал.

Умиротворение. Чувство глубокого умиротворения овладевает тобой, когда ты, прикончив вторую бутылку, с легкостью откупориваешь третью. Сделав глоток, ты приходишь в веселое расположение духа, радуешься, что это людоедское зимнее утро больше не способно тебя сожрать, можно спокойно смотреть в окно, выходящее на перекресток, где оживленное утреннее движение понемногу ослабевает, начался снегопад, у автомобильных колес свежесыпавший снег взвизывает пушистой пылью, а в переулке, где машин почти нет, поверх следов от колес на старом снегу виднеется бледная дымка, будто равномерно распределенный сигаретный дым или марлевая повязка, а когда ты, прижавшись носом и щекой к холодному стеклу, вглядываешься, шурясь, в самый конец улочки, насколько позволяет зрение, очертания домов и улиц теряются в уютной серой пелене летящего снега, в суммарной непрозрачности сотен вьющихся снежинок, которая в эту минуту, после трех без малого бутылок пива, кажется тебе трогательной и прекрасной. Внезапно тебя пронзает воспоминание о том (переливающаяся, будто северное сияние, вспышка боли в твоей груди, приступ эмоционального ревматизма), как однажды ты стоял вот так и наблюдал за появившимся из снегопада пятнышком, которое, медленно приближаясь, превращалось в ясно

очерченную человеческую фигуру, ее фигуру: сначала лишь анонимная, смутная тень, которая могла оказаться кем угодно (а большинство людей для тебя и есть кто угодно), и только почти случайная догадка заставила тебя сосредоточиться на этой фигуре, однако постепенно, по мере того как тень приближалась и становилась отчетливее, ты понимал: шансы, что это окажется именно она, увеличиваются, потом ты узнал одежду и походку, и наконец — это похожее на сигнал впечатление, возникающее, когда узнаешь кого-нибудь издали (лицо кажется странно чужим, схематичным и вместе с тем особенным), и вот уже она остановилась у двери дома. Чуть позже, говоря с ней по домофону, ты подумал об огромном, на первый взгляд, расстоянии (не только в пространстве, но и во времени) между безымянной тенью, которую ты заметил сначала, и знакомым голосом, который принадлежал ей и никому другому.

Почему бы и нет? Почему вечно нельзя поступать так, как хочется? Потому что нормальные люди так не делают? Нет никаких нормальных людей, думаешь ты. У каждого внутри истощенный вопль, это кричит то, что должно быть высказано, но не высказывается никогда, думаешь ты. В общем, можно попробовать ей позвонить. Но сначала надо чего-нибудь съесть; нет, прежде всего покурить, это важнее, и ты принимаешься рыться в карманах брюк, курток, пальто, портфелей и так далее (она мигом сказала бы, сколько и где осталось сигарет, если бы по-прежнему жила здесь, думаешь ты), пока не находишь наконец мятую пачку с одной сломанной и двумя целыми сигаретами в кармане халата, который как раз на тебе, после чего поиски возобновляются, ведь теперь нужны спички или зажигалка, ты заново роешься в карманах брюк, курток, пальто, портфелей и так далее, а также в трех карманах халата, но на сей раз безрезультатно, приходится расширить область поиска и обследовать столы, ящики, шкафы, углы, скребя, так сказать, по сусекам, но опять-таки безрезультатно.

Ты включаешь одну из конфорок (самую маленькую) на полную мощность. В телефонной трубке гудки (ты не знаешь, как выглядит место, где стоит телефон, у тебя нет о нем никаких воспоминаний, ведь ты там ни разу не был, все равно что звать кого-то в темноте), второй гудок, без ответа, третий, без ответа, четвертый, без ответа, пятый, без ответа; на шестой кто-то берет трубку, прерывая гудки. Недовольный, заспанный женский голос произносит лишь: да? — и пока нельзя быть уверенным, что это она, хотя голос похож, ты называешь себя, а она в ответ: только не это! ты! я уж думала, я от тебя отделалась; ты бормочешь что-то о том, как сидел и думал о ней, о том разе, когда ты наблюдал, как безымянное ничто под падающим снегом превращается в нее, а потом ее голос по домофо... тут она перебивает: ты хоть в курсе что я сегодня вернулась домой в пять утра летели отвратно пришлось сесть и ждать шесть часов и только потом лететь дальше из-за долбаной погоды пассажиры ныли как дети малые а какой-то известный урод нализался и устроил скандал ломился в кабину пилота хотел посадить нас прямо в чистом поле ему видители надо на конференцию и вот теперь еще и *ты* в девять пятнадцать какого черта тебе вообще надо, — и ты говоришь: да я тут просто вспоминал какая ты была красивая в тот раз когда пришла из-под снегопада, у тебя были румяные щеки и капельки растаявшего снега в волосах, а другие (ты колеблешься) мои романы были по большому счету так ничего серьезного я хочу сказать что только тебя я, — а она перебивает: страдания и утешения вечно у тебя одни страдания и утешения но меня не волнуют твои страдания и я не собираюсь тебя утешать ты сентиментален все так же сентиментален жестокие люди самые сентиментальные особенно когда фу... ну да с тебя станется нажраться в девять утра это в твои-то двадцать пять ты ведь уже пьян да? у тебя что нет никакой работы? выходной? а с чего это вдруг у тебя сегодня выходной? а вообще-то не мое это дело мое дело сейчас спать понимаешь ты СПАТЬ и чтобы меня не доставали всякие оборзевшие страдалыцы

вроде тебя и не лили крокодиловы слезы нет уж извиняться бесполезно ты отлично знаешь во всяком случае когда ты трезвый если ты еще помнишь каково это что мне на тебя плевать отстань от меня заткнись, — и вдруг, будто электричество, твое тело пронзает ярость, и ты произносишь: ну ты и стерва слащавая лицемерка сплошная фальшивка ты это... двули... вся из себя милашка и очаровашка с теми с кем тебе есть эгоистическая выгода... а когда ловить нечего ты циничная как хрен знает кто ты кассовый аппарат с, — и твое последнее слово, вульгарное название женского полового органа, успевает долететь лишь до микрофона в трубке, так как на словах «кассовый аппа...» разговор превратился из диалога в монолог, со щелчком, означавшим, что она повесила трубку.

Теперь тебе отчаянно хочется курить. Ты помнишь, что у тебя нет ни спичек, ни зажигалки, но все равно идешь на кухню проверить. Там ты с удивлением обнаруживаешь, что одна из конфорок на плите из черно-серой в ржавых пятнах стала желто-красной. Ты задумываешься. Не выключая горелку, растопыриваешь пальцы и водишь рукой в считанных миллиметрах над раскаленной конфоркой, ощущая, как ладонь и нижнюю поверхность пальцев обдает жаром, пока боль не пересиливает волю. Тогда ты, встряхнув рукой, дуешь на нее, а потом достаем сигарету (одну из уцелевших) из мятой пачки, суешь в рот и, наклонившись над плитой так, чтобы другой конец сигареты коснулся конфорки (и снова ощущаешь жар, на сей раз обдающий лицо), прикуриваешь короткими повторяющимися вдохами, чувствуя, как горький дым поступает в легкие, сначала мелкими жадными затяжками, потом более глубокими, поднимаешь сигарету и разглядываешь огонек, он хорошо разгорелся, ты выключаешь конфорку, но не отходишь от нее и смотришь, как зачарованный, на пышущий металл, который будто вот-вот расплавится (так раскаленное железо — ты видел — течет в плавильных печах, напоминая сок красного апельсина), но выглядит все еще густым и сиропообразным,

пылающее металлическое колесо, плоское, как крышка, красное солнце, тлеющее металлическим блеском сквозь проплывающие облака, то скроется, то появится, с неразборчивой надписью, как истертая медная монета давно сгнувшей империи. Все еще день, но свет уже закатный, ты пришел на конечную остановку кого-то встречать (а кого, забыл), однако там никого не оказалось, потом подъехал трамвай, сделал круг и, тяжело содрогнувшись, остановился, а консервные банки, прицепленные сзади, перестали греметь. Все стихло.

Трамвай был черный и выглядел так, будто внутри случился пожар или взрыв, или и то и другое, остов, в котором не уцелело ни одного стекла, зато остались знаки в виде красных крестов, двери открылись (красные кресты сложились и пропали), и вышел приземистый, коренастый, полный человек без головного убора (и лысый), однако в потрепанном зимнем пальто; его пальцы были унизаны блестящими крупными перстнями с разноцветными камнями. Вид незнакомца навел на мысли о драке, и ты приготовился защищаться, но при ближайшем рассмотрении его лицо показалось кротким, мягким и немного печальным. Сверкая кольцами, он спросил с утвердительной интонацией: ищешь кого-то? — и ты неуверенно ответил: да, но ее здесь нет, это, наверное, недоразумение, видимо, по ночам ни часы, ни ее сердце не работают (вдруг наступила ночь), — а он сказал: не волнуйся, ты пришел не за этим, это лишь предлог; нет, ты вот что пойми: смысл заключается в бессмысленном, именно в бессмысленных словах содержится все, что тебе нужно знать. Тут он повернулся к тебе спиной и его вырвало на платформу. Потом он зашел обратно в раскуроченный трамвай, двери закрылись (ты обратил внимание, что эмблемы в виде красных крестов сменились черепами), вагон поехал вниз, в сторону города, и исчез.

Не на первом шаге, а на втором, когда спускаешься из автобуса, сапог ступает на лед, уже, конечно, разбитый, ведь

давно перевалило за полдень и до тебя через эту остановку успели пройти многие (и кто-нибудь из них раздавил — или скорее разные люди по очереди давили — хрупкий осенний лед, покрывший лужу); матовая, как бы сахарная корка осталась лишь по краям, по-прежнему хрустящим. Ты ожидал, что за день солнце растопит лед на лужах, но он не растаял, а это, думаешь ты, явный предвестник конца осени и приближающейся зимы. Ты схватился было за шарф, чтобы затянуть его потуже, но шарфа на тебе нет. Галстук не греет. Поэтому шея мерзнет, пока ты пересекаешь просторную и довольно пустынную парковку (где почти никогда не бывает машин, непонятно, зачем она вообще нужна, разве что для периодических занятий какой-то автошколы, когда здесь появляются ряды пластмассовых фишек с подсветкой, напоминающих по форме шляпы ведьм, и будущие мотоциклисты медленно, почти со скоростью пешехода, выполняют между них слалом). Парковка кажется больше, чем обычно. Когда мерзнешь, все расстояния увеличиваются, думаешь ты; и чем сильнее мерзнешь, тем дальше идти. В окнах автомойки ты замечаешь огромные щетки из искусственного волокна, как будто для мытья посуды в электрифицированном Бробдингне, нарядно рассортированные по цвету: желтые, красные, голубые, черные, они висят там без дела. Раздвижные стеклянные двери ремонтной мастерской тоже закрыты, но внутри ты видишь двух механиков, один наклонился вперед и указывает на что-то инструментом, а другой отмахивается, качая головой. Снег не идет.

Но ведь каждую обезьяну, каждую козу, каждую лягушку зачинают и рождают, сначала они всего лишь сгусток клеток, плевков жизни, необязательно даже быть млекопитающим, чтобы представлять собой сначала всего лишь сгусток клеток, продолжаешь ты прерванный ход мыслей, всех их зачинают и рождают безо всякой метафизики, самым что ни на есть вульгарным биологическим способом, а зачатие и рожде-

ние человека ничем принципиально не отличается от зачатия и рождения, допустим, обезьяны, или козы, или лягушки, на самом элементарном уровне. (Впрочем, животные интересуют тебя лишь в качестве примеров.) Кроме того (и это совершенно бесспорно), на протяжении миллиардов лет жизнь развивалась от простых форм к сложным, все более усложняющимся, однако основанным на тех же простейших базовых принципах, состоящим из клеток, в которых, так сказать, утеснилась жизнь, короче говоря, думаешь ты, все то, что живет сейчас, происходит от того, что жило раньше, все сложное живое — от живого попроще, все разумное живое — от неразумного живого. Если учитывать, что обезьяноподобные существа, так называемые приматы, появляются спустя более ста миллионов лет с момента возникновения млекопитающих, подводишь ты итог, глядя (невидящим взглядом) на череду банок с моторным маслом (СКИДКА НА ЗИМНЕЕ МАСЛО), и от этих приматов происходят человекообразные обезьяны, от человекообразных обезьян — первобытные люди, а уже от них — современные (в физиологическом смысле) люди, возникает одна достаточно каверзная проблема, а именно: где в точности, на каком именно этапе бессмертная душа неожиданно-негаданно имплантируется или, вернее, вводится человеку посредством божественной канюли, прежде всего в мозг, вероятно; на какой стадии это происходит, если в остальном предполагается биологическая непрерывность? Но, если душа не впрыскивается внезапно, чудесным образом, в более или менее обезьяноподобное, смертное тело, как же она тогда может быть бессмертной и свободной, если она как бы отрастает вместе с клетками мозга? На каком конкретно этапе человек в таком случае стал бессмертным? Должен ли, например, *Homo sapiens neanderthalensis* издохнуть навсегда самым небожественным образом, будто какая-нибудь гiena или лобковая вошь, тогда как *Homo sapiens sapiens*, обладая бессмертной сущностью, стяжает по своей физической конечности жизнь вечную? В общем, заключаешь ты (опять-таки), нет

у человека никакой бессмертной души, это невозможно, а значит, она не может оказаться в аду.

В сущности, автозаправки для тебя темный лес. Ты никогда не обучался вождению так называемого транспортного средства, поэтому на заправке ощущаешь себя если не непрощеным чужаком, то, во всяком случае, смущенным гостем (ты с неудовольствием вспоминаешь, как однажды тебя подвозили на машине и попросили ее заправить; ты не сумел даже повесить пистолет, или как его там, обратно на колонку, он никуда не влезал, и ты так и стоял с этим пистолетом в руке, будто с диковинным зверьком, не зная, куда его деть, и чувствуя себя посмешищем). Зато в магазине ты держишься увереннее. Тебе не нужны колпаки для колес, стеклоочистители, мочалки, скребки для удаления льда, дорожные аптечки, предупреждающие треугольники, цепи, зарядные устройства, багажники на крышу, зеркала заднего вида, чехлы для сидений, автомобильные шторки, замки на руль, канистры для бензина, домкраты или наборы для ремонта выхлопной трубы, на кой они тебе, равно как и обезжиренное молоко, порнографические журналы, крестовые отвертки, швейцарский сыр, коробки конфет, яблочный сок, ножовки, мороженое, пледы тигровой расцветки, наборы для бадминтона, комиксы, кольца для ключей, шариковые ручки, кофейные кружки, золотистые буквы-наклейки, карманные фонарики, рисовая каша быстрого приготовления, струбцины, апельсины, снюс, бейсболки или леденцы с ментолом. Ты проходишь прямо к кассе и встаешь в конец небольшой очереди. Смотришь на полку с табаком для самокруток (невидящим взглядом) и, пока ждешь, твердо решаешь (еще раз), что не веришь в сны как знаки или предостережения, но все равно не можешь отделаться от воспоминания о сентенции того толстяка, истолковать которую можно двумя совершенно противоположными способами, а именно: 1) что умерло, то умерло, а кто умер, тот умер, и тот, кто умер, пребывает по ту сто-

рону всякого смысла, то есть в сфере бессмысленного, в чем и заключается решение всей проблемы; или 2) самое абсурдное, то есть самое бессмысленное, что можно себе представить, — это существование бессмертной души и вероятность попадания этой души в ад.

Трамвай из сна. Он вызывает у тебя одну и ту же ассоциацию: ты стоял на остановке (наяву, не во сне) теплым, чудесным летним вечером, собираясь в город на встречу с друзьями, и тут молодая женщина (или не такая уж молодая? ее возраст трудно было определить, думаешь ты, но, возможно, слегка за тридцать, как тебе сейчас), стоявшая рядом с тобой, в туго повязанной косынке (из-за выпавших волос?) и со странно темным, красновато-коричневым цветом лица, внезапно отвернулась к стене, и ее вырвало, один раз, другой, третий, а потом она, вытерев рот рукой, продолжила ждать трамвая. Она ничего не сказала, не пошатнулась, не вздрогнула, не улыбнулась. Просто отвернулась, и ее вырвало. Она оставалась абсолютно безмолвной и серьезной, но ее серьезность не была вызвана задумчивостью или соображениями приличия, просто серьезность человека, у которого что-то сильно болит. Ты расплываешься мелочью без сдачи за две чистые кассеты по девяносто минут.

Кто-то неподвижно стоит на пешеходном мосту. Подойдя ближе, ты видишь женщину средних лет в сером пальто, которая бросает что-то — трудно сказать, что именно, — через перила и, кажется, провожает брошенный предмет взглядом. Затем, продолжив свой путь, она идет тебе навстречу. Как только вы поравнялись друг с другом, ты замечаешь, что на ее губах как будто играет скрытая улыбка запретного удовольствия. Ты пытаешься затянуть галстук и поднять воротник пальто, поскольку ты без шарфа, а на середине моста, где ты сейчас находишься, стоять холодно, ведь никакой естественной защиты от ветра здесь нет, и вдобавок автомоби-

ли, непрестанно проносящиеся вниз, создают что-то вроде искусственного ветра, несколько порывистого, холодного, но ты облакачиваешься на перила и не уходишь, стоя почти на самой высокой точке дугообразного моста, будто это изящный мраморный мостик со статуями львов по обеим сторонам, а не конструкция из бетона, стали и асфальта, а вместо шоссе под тобой спокойная речка, протекающая через тот или иной известный туристический город.

У нее нет души, она умерла, следовательно, ей не больно. Но это не точно, всегда неточно, вечно неточно, и на универсальном, и на индивидуальном уровне, думаешь ты далее, потому что ты не только не можешь положительно и твердо исключить наличие у нее бессмертной души (такова уж природа данного затруднения: если утверждать существование далекой планеты, населенной существами с головами-муравейниками, где каждый муравей всеведущ и бессмертен, а вместо головы у него муравейник поменьше, где каждый муравей всеведущ и бессмертен, и так далее, никто не сможет этого опровергнуть; ну ладно), но даже не вполне уверен, что она мертва; даже сейчас, когда приближается вторая годовщина ее исчезновения (тебе не требуется отмечать эту дату в календаре, она, так сказать, вытатуирована красными чернилами у тебя в мозгу, думаешь ты, или начертана огненными буквами, неугасимыми, светящимися днем и ночью). Теоретически она может взять и объявиться, после невообразимой жизни в каких-нибудь экзотических местах, в джунглях, каких-нибудь жарких джунглях, полных галдящего зверья и липких лиан, все та же, что прежде, только на два года старше, та самая, собственной персоной, она, все та же.

Но ты в это не веришь. Ты не из тех, кто носится с тщетной надеждой по пять, десять, двадцать, двадцать пять лет, ведь ты помнишь, что сказал психиатр: стоит им решиться, как вдруг они приходят в прекрасное расположение духа, при-

ободряются, начинают казаться здоровыми, жизнерадостными, и все считают, что им действительно полегчало, но это не так, они лишь испытывают болезненное и страшное счастье от принятого решения; помнишь ты и одного машиниста, который рассказывал, как в резком свете прожектора вдруг увидел женщину, идущую прямо навстречу поезду с улыбкой на лице, с виду счастливой, последней счастливой улыбкой, а потом ее сбило лобовой частью локомотива, но это была не она, это была документальная передача, которую ты слушал по радио, и слушать ее было невыносимо, но ты не мог оторваться. Это была не она, ведь ее так и не нашли, но ты уверен, что она умерла, и, что хуже всего, не можешь быть до конца уверен, что у нее нет души и, как следствие, она не может попасть в ад, ты в это не веришь, это противоречит всякому здравому смыслу, но тебе не дает покоя невозможность полной и окончательной определенности в этом вопросе. Что толку убеждать себя, что это не свободные, а навязчивые мысли, приходящие вопреки твоей воле, мысли, подобные щипцам палача, впившимся в твои конечности, мысли, которые напирают на тебя, давят, оттесняют в угол, и ты знаешь только, что они хотят загнать тебя в этот угол, а что они там с тобой сделают, понятия не имеешь. Ты вдруг понимаешь, что стоишь, вцепившись, будто когтями, в алюминиевые перила, без перчаток, без варежек, окоченевшими пальцами. Ты прячешь руки в карманы. Хлопая брезентом, трейлер обдает тебя холодным воздухом и исчезает под ногами.

Собака огромная, достает ему до верхней части бедра, шерсть у нее серая, густая, напоминает помесь овцебыка с волком, и, хотя молодой человек в кожаной куртке держит ее на поводке, ты видишь, что второй мужчина, постарше, седобородый, побаивается ее. Молодой говорит негромко, но убежденно; тебе удастся расслышать лишь *ведь нет ни проблиска жизни... и надо кем-то пожертвовать, чтобы другие...* Ты замечаешь, что кусты и деревья возле здания заботливо укута-

ны мешковиной в преддверии близкой зимы. Разве верующие, думаешь ты, не говорят о земной темнице и освобождении души, а ведь в некотором смысле она теперь свободна, избавлена от всех болезней, всех несчастных случаев, от какого-нибудь рака груди, артрита, псориаза, почечной недостаточности, стенокардии, слепоты, гемиплегии, аппендицита, диабета, опухолей мозга, тромбов, межпозвонковых грыж, мышечной атрофии, переломов бедер, порезов, внутримозговых кровоизлияний — список можно продолжать бесконечно, думаешь ты, можно даже составить полный перечень болезней и травм, подстерегающих человека на протяжении долгой жизни; теперь она, можно сказать, так же неуязвима, как белое летнее облачко, парящее над залитым кровью полем сражения, только она нигде сейчас не парит, думаешь ты, потому что она не на небе, она лежит где-то и ждет, вероятно, в той же или на той же самой земле, которую ты каждый день топчешь, лежит и ждет, ведь если ей суждено попасть в ад, то она все еще не там, она ничего не чувствует, ничего не испытывает, словом, она мертва, и течения времени она не ощущает, но именно поэтому время ожидания — это вообще никакое не время и, даже если бы до Страшного суда и воскресения оставались тысячи лет, это ничего бы не изменило, а тот факт, что ты ходишь по земле, зная, что Судный день и воскресение еще не наступили, ничем ей не поможет, ведь ей об этом неизвестно, а в день воскресения она, очнувшись, сразу окажется в аду, будто никогда никуда и не исчезала, с феноменологической точки зрения переход от последнего мгновения ее земной жизни к пробуждению в аду будет непосредственным, собственно говоря, мертвым безразлично, сколько времени пройдет между моментом смерти и воскресением, десять дней или десять тысяч лет, что весьма наглядно, думаешь ты далее, иллюстрирует всю по меньшей мере смелость религиозных догматов, ведь они упраздняют время как измерение, а потом берут и провозглашают вневременную награду или кару за добрые дела или грехи, совершенные во времени.

Полуоторванная наклейка на окне из армированного стекла снова не отдирается до конца. Намертво приставшая липкая бумага напоминает ворсистые, белые, как бы мохнатые язычки наподобие плесени, и тебя не особенно утешает, что надпись прочитать уже невозможно, а от некогда гладкой поверхности с отпечатанным на ней текстом уцелел единственный клочок снизу (правда, теперь он уменьшился, потому что в этот раз тебе удалось оторвать побольше); эти бездушные городские паразиты, граффити, наклейки, действуют тебе на нервы: не успеешь ликвидировать в одном месте, как они сразу же появляются в другом. Ты сдаешься. Отпираешь дверь. Вид собственной квартиры пробуждает воспоминания. Ты исхудал, по ночам спал часа три-четыре или не спал совсем, тебя трясло, ты рыдал, у тебя едва хватало сил дойти до магазина, дома все заросло грязью, помыться было подвигом, зубная щетка казалась тяжелой, как молоток; ее исчезновение и все более очевидная гибель давили своим совокупным весом, как бы сквозь наждачную бумагу, которая медленно стирала тебя в порошок.

Бульон пока такой обжигающе горячий, что ты пьешь его мелкими глотками, облокотившись на кухонный стол и обхватив чашку, чтобы согреть руки. Ты отодвигаешь пакет с кассетами в сторону. Тебе и самому непонятно, зачем было впервые за долгое время их покупать. Ведь записывать на них больше нечего, думаешь ты; предполагалось, что с их помощью можно будет сберечь воспоминания о тех или иных моментах жизни, но ты не столько живешь, сколько хранишься в холодильнике, а единственный звук внутри холодильника — это гул компрессора, один и тот же гул изо дня в день, не громче, не тише, только гул, гул компрессора, почти жужжание, а еще вечный холод, который на магнитную ленту все равно не запишешь. Забавно, в сущности, думаешь ты, что пишу, чтобы сохранить надолго, приходится сделать несъедобной путем глубокой заморозки. Есть ты не хочешь. Вода кипит.

Две сосиски в кастрюльке лопнули. Ты этому рад. Лопающиеся предметы всегда приносят некое облегчение. Ты поднимаешь голову и смотришь в окно. Снег не идет.

Бенгальские огни. Расставлены изящным кольцом вокруг бутылки шампанского, охлаждавшейся в снегу. Тонкие палочки, купленные ею, горели белым, пульсирующим огнем, потрескивая и рассыпая искры, и ты согревал замерзшие (совсем как сейчас) руки в карманах ее пальто, пока вы любовались фейерверком. Возможно, она плохо ориентировалась в серьезных вещах, нет, в серьезных вещах она не ориентировалась вовсе, могла вдруг забыть, какой теперь год, в какой она живет стране, зато в мелочах у нее был настоящий талант, каждый раз всякие небольшие сюрпризы, подарочки, лучше об этом не думать, думаешь ты, известно же, чем это закончится, но не можешь ничего с собой поделать, покатым склон, ведущий к ровной заснеженной поверхности, был покрыт ледяной коркой, и вы, скользя по нему вниз, крепко держались друг за друга, а потом она, утрамбовав снег вокруг откупоренной бутылки шампанского, воткнула все бенгальские огни и подожгла, кроме тех двух, что были у вас в руках. Два фонтана искр, две сгорающие миниатюрные кометы, молниеносные вспышки света, отраженного в бесчисленных зеркалах, каждый раз с небольшим смещением; под безоблачным, ярко-голубым, пустым и безмятежным небом середины лета узкая, покрытая блестящей зыбью часть моря выглядывает чернильной, почти черной, потом, по мере приближения к берегу, вода светлеет (еще одна длинная полоса), потом снова темнеет, но ближе к земле становится зеленоватой, даже с желтым оттенком, и, наконец, прозрачной у самого песчаного берега, где волны, которые несколько минут назад казались сверкающей лентой около мелких островков, набегая теперь, как бы разглаженные, раскатанные ветром с моря, на пляж все новыми тонкими, прозрачными пленками в еще более мелкой, бурлящей и переливающейся ряби,

будто в крошечную складку, с краями, изогнутыми дугой, эти водяные пленки лениво наползают на тонкий песок, перемешанный с мелкими, гладко отполированными камешками, гибкими волокнами взморника (которые выше линии прилива окончательно высыхают и чернеют), фрагментами раковин и панцирей моллюсков, омаров, крабов, улиток, морских желудей, всех этих твердых маленьких объектов, которые, чуть только жизнь их покинет, разбивает и перемалывает море, точно так же, как оно непрерывно перемалывает камень в песок, с терпением, которым обладает лишь то, что полностью лишено сознания (и которым не обладает даже управляемое инстинктами животное). Если не считать небольших лодок и вечно беспокойных морских птиц, вся эта картина производит, несмотря на мерцающую рябь и лижущие берег волны, впечатление незыблемого покоя.

Изорвать, надо как следует изорвать и измять газеты, ты это знаешь, в противном случае они лягут слишком плотно и будут плохо гореть или вообще не загорятся, хотя дует ветер, как это почти всегда бывает у моря, челку все время сдувает на глаза, и это тебя раздражает, а чтобы бумагу не унесло, приходится удерживать ее ногой, бросая сверху изрубленный на куски стул из красного дерева и валец, или как его там, а затем остатки разошедшегося шкафа с росписью «русемалинг»<sup>4</sup> и намалеванной датой, превратившегося после знакомства с топором в отличные сухие дрова, уж топором-то ты владеешь хорошо, хоть и не вполне трезв, но и не то чтобы пьян — так, пелена какая-то на душе (как ты это называешь), да и кулаки ты не боишься пускать в ход, тебе не привыкать их мозолить, как гласит твоя ненаписанная биография. Ты еще раз проходишь от площадки для барбекю, вымощенной плиткой, к открытой двери домика.

4 Буквально «роспись розами» — вид норвежского декоративно-прикладного искусства, цветочная роспись.

Лото, моравские звезды, аппараты для измерения артериального давления и пульса, видеокассеты в напоминающих книжные переплеты коробках, кружевные трусы (черные или белые), компьютерные игры для джойстика или светового пистолета, кварцевые часы, радиоприемники на руль велосипеда, горные палатки, надувные тропические острова с пальмами, пиратские флаги, наборы гаечных ключей, часы с кукушкой, солнцезащитные очки, вибраторы (длиной 18 или 25 см), кожаные тапки, бейсболки с бубенчиками, женские бритвы, музыкальные Санта-Клаусы, теннисные ракетки, авиамодели, резиновые лодки и фильмы, фильмы лучше всего, дело вообще здорово пошло, ты помнишь, но фильмы пользовались особенно устойчивым спросом, и на вопрос о роде твоих занятий можно было спокойно отвечать: бизь-ныс, импэрт, — и ты отлично помнишь, что потом сказал (тебе почему-то гораздо проще запоминать свои собственные слова, чем то, что говорят тебе другие): ну хоть какую-то прибыль с этого можно поиметь вон на Востоке например народ впахивает как проклятый не ожидая директорской зарплаты и шелковых подушек под задницу а надо же ты понимаешь хоть че-то зарабатывать.

Все случилось только на третий твой рабочий день, на складе, за двумя коробками с фаллоимитаторами, которые тебе так и не удалось сбыть (они были слишком большие, покупатели возвращали их, требуя отдать деньги); она делала вид, что сопротивляется, и тебе это нравилось, тебе всегда нравились порядочные женщины, думаешь ты и, рассмеявшись, снимаешь со стены фотографию, на которой он в морской форме, одна рука держит штурвал, в другой — бокал шампанского. Рядом с веселым капитаном висит нечто с претензией на художественность; ты бы сказал, какая-то детская мазня, пораженная слоновой болезнью, черные, грубые линии и красные, желтые и голубые пятна краски, местами выступающие за контур, в правом нижнем углу стоит подпись, неко-

торых облапошить легко, но не тебя, думаешь ты, срываешь картину со стены и разбиваешь стекло об угол соснового стола, заодно с фотографией моряка; рядом висят еще и другие, на которых по крайней мере изображено что-то внятное, но они тебе тоже не нравятся, ты бьешь стекла, трясешь рамы, стучишь по ним, чтобы вытряхнуть осколки, застрявшие по краям, будто прозрачные клыки, которых ты не боишься, не кусаются же они. Так называемую журчащую бутылку<sup>5</sup> и два винных графина ты швыряешь о противоположную стену. Потом без спешки начинаешь рубить последний барный стул. Тряпичные половики и широкие, до блеска начищенные доски пола уже обильно усыпаны щепками, как будто мебель может линять, а это — ее шерсть.

Тот барабанщик, с которым тебе однажды довелось играть, стучал палочками до тех пор, пока они не превращались в обломки, обрубки, колошматил изо всех сил, от его остервенелых римшотов<sup>6</sup> в буквальном смысле летели щепки, и ты представлял себе, что через какое-то время он уже будет колотить тонюсенькими махрящимися огрызками, нет, двумя измочаленными зубочистками, а когда от них ничего не останется, начнет барабанить голыми руками, собьет кожу и мясо, станет молотить по установке одними костяшками, удар за ударом, беспрерывно, пока костяшки не треснут и не рассыплются, а потом культиями, ногами и, наконец, головой, будет биться о малый барабан черепом, а когда череп тоже разлетится в пух и прах, музыка кончится, а может быть, продолжит звучать в потустороннем мире. Что тебе попало в той газете? Ах да, один человек ловил в эфире сигналы от мертвых при помощи коротковолнового приемника, какие обыч-

5 Предназначенный для крепкого алкоголя сосуд в форме песочных часов, издающий специфический журчащий звук.

6 Техника игры на барабане, при которой головка палочки бьет по пластику, а тело палочки — по ободу.

но используют радиолюбители, и записывал все на пленку, мертвые посылали ему сообщения, которые он сохранял на бесчисленных метрах пленки, они рассказывали обо всякой всячине, причем говорили, как ни странно, по-немецки, и он, хотя сам ни слова по-немецки не знал, все равно правильно понял, когда те сказали: *Wir sind die Toten*, и в газете был перевод «Мы — мертвые».

Приходится постоянно откидывать челку со лба, это действует тебе на нервы, будто женщина, которая все никак не отвяжется. Сначала бумагу, тщательно изорванную (не газеты целиком и уж точно не глянцевые страницы, эти только помешают огню разгореться), потом щепки, потом несколько деревяшек (красное дерево, сосна), потом морскую форму с фуражкой и всем остальным и ее купальник, раз уж они любят погорячее, то пускай вместе и горят, думаешь ты, горят в костре. Картины поверх тряпок, а сверху еще раз побольше дров, чтобы вся эта куча не расплзлась. Ты убираешь с глаз челку и смотришь (через солнечные очки) на море. Они проплывают, легко скользя (или тарахтя, пыхтя, фыркая, подывая и тому подобное) вдоль бухты, их много, целая армада, как будто разминаются перед вечером, и ты думаешь, что так оно, вероятно, и есть, они только делают вид, будто идут непринужденно, безмятежно, как в выходной, а на самом деле им хочется пить, и праздновать, и блевать, и веселиться, и чем раньше, тем лучше.

Бутылки в лесу. Ты никогда их не забудешь. Кто-то неизвестно зачем оставил их целую грудку, десятки пустых бутылок из-под водки у крутого горного склона на опушке леса, и ты помнишь, как мгновенно ощутил себя сказочно богатым, ты нашел несметное сокровище; ты осторожно огляделся, чтобы убедиться, что больше никто на них не претендует, и никого не обнаружил; затем перенес все бутылки, ни одной не уронив, на подходящее расстояние от горы, а потом, после

краткой сладостной передышки, во время которой упивался привалившим счастьем, ты начал их бить, одну за другой, но быстро, экономить не приходилось, можно было позволить себе расточительность. Когда бутылка разбивалась, осколки стекла, будто капли воды, отскакивали от горы каскадами и сыпались на мох и траву сверкающим дождем (это напомнило тебе о городских фонтанах, в которые ты частенько залезал в поисках мелочи), ты бросал и бил, бросал и бил, пока последняя бутылка не разлетелась вдребезги, и только тогда, утомленный приятными трудами, присел на траву отдохнуть.

Коряги, пустые ящики, старые рыбацкие ловушки, остатки стройматериалов и что-то в этом роде, кажется. Отбрасывая резкие тени, несколько мужчин на пляже разгружают пикап, попадается даже старая мебель, которую они достают вдвоем, а трое или четверо мальчиков носятся туда-сюда с бестолковым энтузиазмом, перетаскивая грузы полегче, но иногда и довольно увесистые (пни с корнями во все стороны, старые двери сараев), в таких случаях дети волокут их за собой, оставляя на песке темные полосы. Костер получится огромный, в форме пирамиды; один из мальчиков взбирается на кучу дров, держа в руке какой-то предмет, ты слышишь, как один из взрослых что-то строго ему кричит, мальчик медлит, поднимает голову, заводит руку с добычей (картонная коробка?) за спину и забрасывает на самый верх, где этот предмет и остается лежать, после чего раздается довольный, пронзительный возглас мальчика, а потом взрослый повторяет замечание громче, и ребенок поспешно спускается.

Опустошить дом — это, можно сказать, твой долг, думаешь ты, но, с другой стороны, некоторые вещи (стереоустановка, кухонная утварь, холодильник, телевизор и кое-что еще) горят плохо или не горят совсем, нельзя же требовать от тебя невозможного. Но большую-то часть того, что может гореть, ты спалишь, потому что домик и так ломится от абсо-

лютно ненужных вещей, думаешь ты, вещей, которые рано или поздно все равно развалятся, или пропадут, или сгорят; до чего странная мысль: все, что там есть, однажды бесследно исчезнет, это лишь вопрос времени, так что ты просто опережаешь время или немного помогаешь ему и винить тебя, в сущности, не за что, так как все находящиеся здесь вещи, рассуждаешь ты, в любом случае сгинут, не частично, не выборочно, а целиком и полностью, от начала до конца, так что по большому счету, пожалуй, совершенно безразлично, в какой конкретно момент это произойдет, сегодня или через тысячу лет. Это произойдет сегодня. Ведь по большому счету все, что ты стащил в костер (рассуждаешь ты далее), уже выброшено, это просто мусор, утиль и мусор. Когда в своих размышлениях ты доходишь до этой точки, твоя рефлексия из внутренней и неслышной (и умозрительной) превращается во внешнюю и слышимую, и ты произносишь во весь голос, почти кричишь: долой хлам! долой хлам!

Мужчины внизу прекращают возиться с костром, своим вавилонским костром, шаткой и высокой, как башня, конструкцией, подлежащей уничтожению всего через несколько часов, и удивленно смотрят в твою сторону; ты корчишь рожу (может, им это видно, хотя кто их знает) и, отпив из бутылки, говоришь приглушенно, без особого апломба: долбанные хитрожопые мудаки возомнили о себе хер знает что яйца вам пообрываю и зарю вместе с вами и вашими яхтами пижонскими и подстилками вашими и гребите вы ко всем чертям во веки вечные. Они этого не слышат. Они отворачиваются и продолжают возиться с костром. Солнце выглядывает из-за облачка. Ты развязываешь шнурки и скидываешь кроссовки. Ширинка у тебя не на молнии, а на пуговицах, растянуть ее получается не сразу, но в конце концов тебе удастся снять джинсы, футболку, носки и трусы. Это как покупать поддержанную машину, надо как следует примериться и только потом решать, думаешь ты, так ты ей и сказал: это как поку-

пять поддержанную машину надо кследует примерца и ток  
птом ршать, — а она обиделась, оскорбилась или скорее набы-  
чилась (как ты это называешь); вот ты и примерился, при-  
мерилась и она, снова и снова, благо примерочных вокруг  
хватает, каждый раз новых, думаешь ты, принадлежащих  
сантехникам и летчикам, стил-гитаристам и полковникам,  
саперам и адвокатам, лазарям и богачам, снова и снова, все  
примеялась и примерялась, к верхам и низам, к власть иму-  
щим и подчиненным, когда недолго, когда подольше, совсем  
подолгу никогда. Тебя злит, что собственную спину не уви-  
деть. Но, кажется, они бледнеют и снова исчезают, как бы втя-  
гиваются в здоровую кожу, чтобы затаиться, впасть в спячку,  
задремать до следующей вспышки. Это происходит периоди-  
чески, в таких случаях помогают солнце и купание; но, даже  
если твоя кожа действительно становится грязной, дрянной,  
никудышной, дело все равно не в этом, думаешь ты, внеш-  
ность им почти безразлична. Поскольку солнце действует на  
тебя благотворно, а спиртное наоборот, получается ничья, ты  
же получаешь и то и другое, и солнце, и выпивку, все сразу,  
и хуже тебе от этого не становится. Ты смеешься.

Корабль в окружении эскадры небольших лодок огибает  
бухту на полном ходу, люди в лодках машут руками, мужчи-  
ны на берегу ставят ладони козырьком, показывают на судно  
и явно обсуждают его, паруса, возраст и все прочее; старин-  
ная парусная шхуна с коричневыми парусами, возможно, так  
называемый бриг. Возраст и все прочее, думаешь ты, он стар-  
ше тебя как минимум лет на пятнадцать, а значит, ему в районе  
пятидесяти, а то и больше, старый капитан, который уплыва-  
ет все дальше, к шестидесяти, семидесяти, восьмидесяти, девя-  
носта никчемным годам, твоя бабушка дожила до девяноста  
трех, вспоминаешь ты, почти ослепла, оглохла, голова и руки  
тряслись, внезапные припадки гнева, потом снова апатия, при-  
падки гнева, апатия и так далее, по крайней мере стало куда  
проще занимать у нее деньги, они были ей не нужны, она все

равно не видела разницы между сотней и куском туалетной бумаги, думаешь ты, дряхлый капитан ста пяти лет от роду, скелет рулевого на прогнившей насквозь шхуне, которая идет с погашенными огнями под землей неведомо куда.

Ты чувствуешь себя странно трезвым, это надо исправить, тем более что выпивка здесь первоклассная и бесплатная. С пляжа потянуло жареным мясом; похоже, мужчины, возившиеся с костром, и несколько женщин, должно быть, жены, или подружки, или сожительницы, готовят еду. Сквозь солнечные очки все выглядит синеватым, а из-за выпитого алкоголя представляется еще и не вполне реальным, так что эти люди кажутся тебе если не актерами в кино, то фоновыми статистами телевизионного репортажа (пока на переднем плане корреспондент сует микрофон в меховом чехле чуть ли не в зубы какому-нибудь директору банка, или политику, или епископу, или хоккейному тренеру, случайные люди на заднем плане, не имеющие ни малейшего отношения к сюжету, убирают снег, заглядывают в витрины, едят мороженое, кормят уток, катаются на велосипедах, несут какие-то свертки, захлопывают двери машин, толкают перед собой магазинные тележки, отдыхают, облокотившись на трости, играют в футбол, тащат чемоданы и так далее; разве что дети или нахальные подростки иной раз вторгаются в, так сказать, личные покои камеры, заглядывая в объектив с заднего плана, корча гримасы, всячески дурачась и отвлекая внимание от того, что вещает директор банка, или политик, или епископ, или хоккейный тренер, однако остальные люди, попавшие в кадр, присутствуют там исключительно в качестве, что называется, случайных прохожих (так в жизни каждого человека, увиденной под его собственным углом, всегда будет присутствовать масса случайных прохожих), а все задаваемые вопросы — равно как и ответы — интересуют этих людей не больше, чем вопросы — равно как и ответы — газетной викторины на случайно раскрытом развороте интересуют ползаю-

щих по странице мух). Осталась примерно четверть бутылки. И этих бутылок там полно.

Пламя. А вдалеке, будто сквозь некую длинную трубу, звуки аккордеона, вой сирены, треск фейерверка и смех. Лодки: тархтящие моторные шлюпки, бесшумные небольшие парусники, ялики, все бортовые огни горят, зеленые огни на правом борту у лодок, выходящих из пролива, красные огни на левом борту у лодок, заходящих в пролив, и белые, более или менее яркие — у всех, лодочное столпотворение, как будто идет эвакуация или по крайней мере регата, в темноте, в мягкой темноте летней ночи. С пляжа по-прежнему тянет жареным мясом. Ты чувствуешь, что проголодался. Ты дрожишь от холода, после пьяного сна усталость и головная боль орудуют в твоём теле, будто злобный врач, ты все еще (к счастью, как тебе кажется) не протрезвел, а ведь твой костер еще не зажжен; самое время его зажечь, думаешь ты. Пока ты мочишься (теплые брызги отлетают от каменных плит и падают на ноги), тебе приходит в голову одна вещь, она как-то раз приснилась тебе и кажется теперь единственно верной, так и надо поступить, думаешь ты, направляясь к открытой двери домика. Ты наугад выхватываешь бутылку из бара (уже не выбирая из многочисленных эксклюзивных марок) и отпиваешь, запрокинув голову, сколько получается проглотить за один раз, захлебываешься, выплевываешь половину (все-таки не рассчитал силы) и снова пьешь, как можно быстрее, задыхаясь, кашляя и давясь, пьешь до тех пор, пока в бутылке не остается половина, берешь с полки новую, отвинчиваешь крышку, идешь в спальню и размашисто, не скупясь, обливаешь алкоголем постельное белье, пропитываешь всю ткань спиртом, а потом чиркаешь толстой каминной спичкой.

Внизу, на берегу, повсюду полыхает огромный костер, языки пламени на ветру, дующем с суши, клонятся в сторону моря, прямо сейчас, от этого зрелища мурашки бегут, ты

голый, челку все время сдувает на глаза, ты снова вспоминаешь, что давно пора зажечь свой костер, но тебе холодно, хочется есть, и ты нетвердо, довольно медленно, почти инстинктивно бредешь к источнику тепла на пляже, на звуки аккордеона (после заключительного такта он смолк, и на некоторое время громкие разговоры и крики большой компании стали слышны отчетливее), а главное — на пламя костра, который может согреть твоё тело, и запах жареного мяса, которое может утолить твой голод.

Пейзаж, погруженный в темноту, или полутьму, или четвертьтму, мерцающий летний сумрак, в котором все очертания, все светлые поверхности как бы удерживают отблеск прошедшего дня, так до конца и не угасающий, утренние (или вечерние) сумерки, продолжающиеся всю ночь. Перерыв в музыке затягивается. Он кажется бесконечным. Кричат морские птицы. На пляже фальшивым хором заводят песню. За спиной слышен звук мотора, машина проезжает мимо, мельком осветив твою спину, останавливается, разворачивается и светит фарами тебе в лицо. Ослепленный, ты поднимаешь в ее сторону бутылку, как бы предлагая тост, и продолжаешь путь. Когда нормальное зрение возвращается, вокруг тебя все та же ясная летняя ночь; только скалы и фигуры, которые ты, проходя мимо, видишь на фоне костра, кажутся сплошными анонимными тенями, отлитыми из густой тьмы, черной, как застарелая гарь на сковороде, черной, как твои зрачки (ты, можно сказать, смотришь на вещи из тьмы), ты не различаешь в зеркале ничего, кроме верхушки подсвечника, огарка и высокого пламени, которое тянется вверх, как бледный росток из луковицы. Отражение свечи несколько сдвинуто (или отклонено) относительно настоящей восковой свечи (поставленной прямо перед зеркалом), поскольку зеркало прислонено к стене под небольшим углом, это сделано для того, чтобы оно не опрокинулось, и то, что можно (парадоксально выражаясь) назвать недрами

зеркала, составляет как будто бы отдельное пространство, в котором находится другая свеча, напоминающая настоящую, но не идентичная ей<sup>7</sup>.

Если приглядеться, можно заметить светлое горизонтальное кольцо на самом верху огарка, вокруг фитиля, там, где воск, готовый оплавиться, насквозь просвечивается пламенем, и мерцающую вертикальную полоску вдоль всей свечи, будто на слегка обледенелом снегу, однако последнее касается только задней стороны огарка, отражаемой в зеркале, и связано, по-видимому, с тем, что гладкая поверхность (зеркало) бросает на свечу свой отблеск, тогда как передняя сторона свечи (напротив зеркала, видимая) остается, наоборот, почти такой же темной и матовой, как воображаемое зазеркальное пространство, не считая светящегося воскового кольца (сверху) и окаймляющих подсвечник блестящих отсветов (снизу). Фитиль выделяется темным пятном (таким же черным, как поверхность зеркала) в нижней части необыкновенно высокого пламени, выше даже самой свечи (возможно, из-за того, что женщина, которая должна была подрезать фитиль, задумалась и забыла это сделать), узкое, вытянутое, желто-белое (с красноватым кончиком) пламя колеблется и будто лижет раму зеркала, роскошную, дорогую, позолоченную (или посеребренную, отливающую красным при свете свечи); но зачем, прерываешь ты свою визуальную медитацию, так пристально изучать эту картину со свечой? Чем тебя так привлекают картины? Тем, что ты видишь на них самого себя? Нет. Скорее тем, что благодаря картинам нет необходимости смотреть в настоящее зеркало и видеть это лицо, которое могло бы принадлежать любому другому тридцатидевятилетнему мужчине, холостяку, лицо, которое после семи пластических операций

7 Здесь и далее описываются картины Жоржа де Латура «Кающаяся Магдалина» (ок. 1640), «Женщина, ловящая блоху» (1638) и «Мальчик, зажигающий лампу» (1640).

так и не стало твоим, эту неумелую подделку или бездарную карикатуру. На картинах же тебя самого нет.

Массивные и в то же время витиеватые, тонко проработанные украшения на раме, растительные орнаменты в углах, симметричные волюты и картуши с каждой стороны, крупный, каплевидной формы драгоценный камень (серьга), лежащий перед зеркалом, а справа от подсвечника — длинная нить жемчуга, как бы небрежно брошенная или скорее скрученная, будто в порыве отчаяния, едва ли не завязанная узлом, напоминающая кольчатое, чешуйчатое пресмыкающееся или причудливую водоросль. На стене позади зеркала ты видишь большую прямоугольную тень (от него самого и от рамы), такую же черную, как тьма в зеркале (если бы не отражение свечи, зеркало можно было бы принять за стоящую на фоне темноты золоченую раму); кроме того, ты видишь женщину в белой, широкой, образующей множество складок льняной рубаше (сквозь ткань проглядывают тенью плечо и локоть), она сидит и смотрит в сторону зеркала, как бы не видя своего отражения, а от ее дыхания (или вздохов) пламя, вероятно, время от времени колеблется; ты видишь половину ее бледного, отверженного от тебя профиля, и свободный, V-образный, очень глубокий вырез рубашки, гладкие, длинные, доходящие до спины волосы, каштановые, почти черные, перекинутые через плечо, и пурпурно-красную юбку, ниспадающую на ноги и полностью их скрывающую, и крупные, можно даже сказать, мощные, полные кисти рук, переплетенные (непринужденно, со слегка растопыренными пальцами, так что пальцы левой руки отбрасывают тени на тыльную сторону правой) и опирающиеся на череп, который лежит у нее на коленях.

А теперь свеча стоит на стуле, обтянутом красной кожей, и женщина, сидящая рядом на табуретке, лучше всего освещена в области груди. На ней, по-видимому, ночная сорочка, подобранная до самых бедер и распахнутая, так что дряблая

грудь выскальзывает наружу. Ее волосы прикрыты каким-то платком или тюрбаном, лицо выражает глуповатую сосредоточенность, из-за низко склоненной головы подбородок кажется двойным, а опущенные веки свидетельствуют о том, что взгляд ее направлен в некую точку между животом и грудью, туда, где она держит руки, сжав кисти и стиснув их вместе, так что видны только выступающие широкие нижние фаланги (сами по себе похожие на лошадиные зубы); большие пальцы согнуты, и там, где их ногти соприкасаются, можно, если как следует приглядеться, различить (или вообразить, будто различаешь) блоху, которую эта женщина давит, а источник света потребовался ей для того, чтобы лучше видеть. Ты думаешь о пространствах в ее столетие богословских взглядах, согласно которым от сотворения мира предопределено, кто обретет вечное спасение, а кто найдет вечную погибель, так что обреченные обречены задолго до появления на свет, а спасенные спасены задолго до появления на свет, тогда как сама жизнь оказывается, строго говоря, избыточной демонстрацией частных случаев того, что и так уже решено от века и вовек; стало быть, можно, думаешь ты, с тем же успехом совсем упразднить земную жизнь, чтобы обреченные были обречены только на том свете, а спасенные спасены на том свете, от века и вовек, без этого тривиального перерыва на жизнь, и не потребовалось бы миллионов лет, чтобы шрамы попали на твое лицо, они просто находились бы там, отчетливые и ясные, будто картезианские идеи, от века и вовек.

Легкий хруст, с которым ногти, сомкнувшись, раздавливают блоху. Возможно, этот щелчок слышен в комнате, где, кроме женщины, никого нет. И, быть может, она, положив на раздутый живот руки, чувствует, как там шевелится плод, растущий зародыш, чьи клетки продолжают делиться у нее внутри, пока блохи по другую сторону дохнут между ногтями ее больших пальцев. Как бы то ни было, можно утверждать, что эта женщина в самом деле всецело сконцентрировалась

на чем-то фактическом, чем-то *существующем* (а именно на блохе), в отличие от той, первой женщины, которая сидит перед зеркалом и размышляет о бренности и смерти в обстановке, свидетельствующей, кажется, о большем достатке, она сосредоточена скорее на чем-то другом, чем-то не существующем, или не существовавшем раньше, или том, что больше не будет существовать, или же соединяющем в себе все перечисленное, поскольку она смотрит не на какую-нибудь блоху и даже, в сущности, не в зеркало, или на свечу, или отражение свечи, она смотрит как бы в самую темноту или на контраст света и темноты, будто предвосхищая крошечную тьму, готовую прийти на смену свету в тот миг, когда пламя качнется и вспыхнет в последний раз или, вернее, когда последний красно-оранжевый огонек на фитиле пропадет, выпустив облачко дыма (неразличимое в темноте), и она, ощутив характерный резкий запах потухшей восковой свечи, не сможет больше видеть ничего, кроме колеблющегося послесвечения на собственной сетчатке, от которого в конце концов останется лишь несколько неверных, мигающих световых пятнышек.

Это мгновение еще не наступило. Пока что есть время подождать и подумать, разглядывая зеркало, как ты и поступаешь, не замечая ничего, кроме горящей свечи и ее наклонного отражения, высокого пламени, трепещущего, извивающегося, меняющего цвет, вокруг фитиля как будто бы голубоватый, на кончике как будто бы красноватый, или белесый, белый свет на белой полоске бумаги, которая вылезает из щели в сопровождении негромкого, металлического, жужжащего электронного звука, напоминающего шум старого компьютера, и ты понимаешь, что вы уже какое-то время в пути, но ничего не помнишь с того момента, как оказался в машине. Значит, это снова случилось, причем на сей раз, очевидно, длилось намного дольше обычного, ни снов, ни видений, полный, абсолютный блэкаут, ничем не предвзяемый, будто из твоей жизни, как из фильма, бесцеремонно

вырезали несколько минут или она, как книга со сплошным текстом, вдруг открылась на пустой странице, а затем снова пошел сплошной текст, будто твой мозг умирал и ты пять минут (или сколько это продолжалось) провел с мертвым мозгом в живом теле, а теперь очнулся, хотя по-прежнему рискуешь исчезнуть в любой момент; все это тебе не нравится, надо бы сходить к врачу, думаешь ты, как только сделаешь то, что должен сделать. Уже достаточно рассвело (хотя утренний час пик еще не начинался), чтобы можно было разглядеть почки на березе, несколько желто-зеленых, как бы проклюнувшихся из черной скорлупы язычков, пока машина стоит на первом светофоре, а шофер, отвечая на твой вопрос, объясняет, что это автоматизированная сводка различной информации, о маршрутах, прежде всего о маршрутах, но также о больших очередях на остановках, перекрытых улицах, произошедших авариях, опасных ситуациях на дороге (к примеру, о пьяном, который бродит по проезжей части на определенном участке), угонах и прочих правонарушениях.

Долгие тихоокеанские волны набегают на песчаный пляж, ты слышишь их шум с террасы бунгало, голубые волны, вздувающиеся, прежде чем разбиться пеной и окатить песок, никакой зимы, никаких времен года, только вечное лето и пасат, благодаря которому никогда не бывает слишком жарко, думаешь ты. Ты спрашиваешь, позволяет ли это устройство передавать сообщения, но для этого, по его словам, придется использовать рацию. Таксист привычно маневрирует на четырехполосной дороге, быстро (на предельно допустимой скорости), но плавно, включив высокую передачу. Ты замечаешь за окном магазин светильников, сотни зажженных ламп всех мыслимых размеров и форм внутри старого деревянного дома с белеными стенами (в прошлом, должно быть, частного), будто лампы превратились в диковинных стайных животных, сбившихся на ночь вместе, как светлячки, пчелиный рой в улье или камни, скопления сверкающих кристаллов, само-

цветов, бриллиантов, ты с ужасом думаешь об астрономических счетах за электроэнергию — вероятной расплате за подобное рекламное расточительство, а ведь эти деньги могли бы пойти на что-нибудь получше.

Как будто белые скалы в лучах утреннего солнца, чуть только вы проехали поворот за бензозаправками (две конкурирующие фирмы, одна напротив другой по разные стороны улицы; перед одной из них работник в синем форменном комбинезоне моет асфальт из резинового шланга), массивные многоэтажки, выглядящие в некотором смысле мертвыми и необитаемыми, вроде гигантских памятников прошлого, храмов, зиккуратов или мавзолеев, которые заставляют ученых строить предположения о том, каким образом они возводились и для чего вообще были нужны. Ты осторожно просовываешь руку в коричневую хозяйственную сумку и ощупываешь рукоятку, удобно закругленную, прекрасно лежащую в ладонь, с наслаждением обхватываешь и поднимаешь, чтобы ощутить тяжесть; потом бесшумно роняешь оружие обратно в сумку и берешься за широкую, мягкую ручку двери. Хорошо, что ты умеешь держать рот на замке, иначе тебя просто засмеяли бы. Чего стоят хотя бы названия этих островов, с их мелодичными, переливающимися гласными, похожими на неторопливые волны, ты знаешь их назубок, а твое бунгало должно располагаться на невысоком склоне, с видом на простирающиеся вокруг вулканические гряды в буйной растительности, над пляжем, всего в нескольких минутах неторопливой ходьбы по извилистой тропинке, думаешь ты, в теплом тропическом климате, позволяющем круглый год разгуливать в шортах, сандалиях и просторной цветастой рубашке с коротким рукавом.

Вероятно, печи не должны остывать, поэтому там работают по непрерывному сменному графику: в весеннем воздухе плывут клубы бурого дыма. Ты видел, как гигантский

козловой кран опускает магнит на целую гору, настоящий могильный курган из металлолома — всяческих покореженных железок неясного происхождения, старых механизмов, автомобильных кузовов (и на пару секунд ты задумываешься, существует ли вероятность, что машина, в которой ты сейчас сидишь, угодит в итоге именно в эту груду металлолома), дырявых жестяных пластин, пришедших в негодность бочек и тому подобного, а также множества непонятных металлических кусков и кусочков, чью первоначальную функцию уже не установишь, поэтому легко вообразить, будто вся эта гора утиля образовалась в результате взрыва, продолжительной террористической бомбардировки, будто город охвачен войной, да, будто все эти обломки — прямое следствие непрекращающихся военных действий; и, несмотря на разноцветную ржавчину всевозможных оттенков, от угольно-черной до табачно-бурой и кирпично-красной, а по большей части все-таки темно-коричневой, металлолом этот, в сущности, столь же бесцветен, сколь и (временно, до переплавки) нефункционален, бесполезен; ты вспоминаешь, как тяжелый и круглый грузоподъемный электромагнит, будто спасательная корзина с вертолета, опускался на вершину металлической кучи, затем подавался электрический ток высокого напряжения (надо полагать, все это проделывал крановщик, сидевший на самом верху, в похожей на деревянный сарайчик кабине) и нужное количество металла мгновенно приставало к магниту, будто клочки целлофана, которые (из-за статического электричества) иной раз липнут к пальцам так, что стряхнуть почти невозможно; далее кран отделял притянутые к магниту куски железа, точно колышущийся ворох тряпья, от большой кучи (ты почти каждый раз замечал, что в последний момент несколько самых нижних обломков в буквальном смысле вырывались из магического магнитного круга и падали с высоты в несколько метров обратно, на груду рухляди), поднимал добычу на определенную высоту (чтобы никакие препятствия не помешали), и тогда исполинский мост крана (раскинувший-

ся аркой над всем фабричным зданием) приходил в движение, сопровождаемое скрипом, лязгом и грохотом двигателей и подвижных частей, прежде всего, вероятно, массивных колес, на которых кран перемещался по рельсам; досхав до определенной точки, где металлолом, напоминающий воронье гнездо, оказывался, судя по всему, над невидимой целью за стенами литейного цеха (крановщик, конечно же, отлично видел ее сверху), груз стремительно и отвесно опускался сквозь тяжелый люк в некое помещение, где явно горел огонь, ты ведь помнишь дрожащие отблески пламени и клубы дыма, поднимавшиеся вдоль стен; будь у тебя воображение побогаче, а склад ума — поэтичнее, чем есть от природы, ты уподобил бы все это сходжению душ умерших (кусков металлолома) в чистилище (литейный цех), откуда по прошествии времени они должны вернуться в обновленном и преображенном (очищенном) виде, но такого рода устаревшие, вздорные аллегории тебе в голову не приходят.

Столица. Время от времени придется, конечно, выбирать-ся на лодке в столицу, чтобы снять денег со счета (не исключено, впрочем, что банк есть и на острове, ты не уверен), купить что-нибудь особенное, возможно, сходить в бар, ресторан, а при случае и в бордель (если понадобится), но в остальном ты коротал бы дни купаясь, ходя под парусом, рыбача, систематизируя коллекцию раковин, мастера корабли в бутылках, собирая плоды хлебного дерева и вскрывая кокосы при помощи мачете, прогуливаясь по пляжу и по лесу, посиживая на террасе со стаканчиком чего-нибудь, над газетами и журналами недельной или месячной давности, рассказывающими о событиях и людях, которые тебя не касаются и не коснутся уже никогда.

Все эти мужчины, которые то ли до сих пор, то ли уже, несмотря на ранний час, трудятся там, внизу, вкалывают в этом пекле среди испарений металла, обливаясь потом,

представляешь ты, вынужденные защищать глаза очками, головы — касками, лица — специальными щитками, руки — асбестовыми перчатками, ноги — ботинками со стальными подносками, легкие — респираторами, внизу, в трудовом аду, безнадежные идиоты, гробящие тело и душу за каждое эре, а что хуже всего, думаешь ты, не помышляющие ни о чем другом, неспособные даже пометать о чем-то лучшем или вообразить свою жизнь без работы, они отвергли бы саму возможность просто так, ни за что, получать полный оклад (чуть только выдается свободный день или хотя бы полдня, такие люди, ты видел, сразу бросаются что-то пилить и строгать, красить стены, клеить обои, укладывать кирпичи, стелить линолеум, ремонтировать машины, полоть грядки, рыть каналы, колоть дрова, подстригать изгороди, что-то лакировать, делать изоляцию, паять, менять черепицу, обшивая подвальные этажи, обставлять мансарды и так далее, и тому подобное, с лихорадочным рвением, как будто они причастны тайному медицинскому знанию: стоит только прервать активную деятельность, как их тела рассыплются горстками праха, вот откуда этот хронический труд, звучит как диагноз — хронический труд); поэтому, думаешь ты, им непонятна вся прелесть денег, которые нужны не для покупки вещей, как считают эти люди, а для полного освобождения — тебе это очевидно — от любой работы (при условии, что денег достаточно); сидя в такси, ты усмехаешься при мысли об этих нелепых идеалах, воображающих, что горбатиться на государство лучше, чем на частного эксплуататора, что возиться ради выживания в общественном дерьме лучше, чем в дерьме частном, что спину ломит меньше, если затаскиваешь на пятый этаж рояль, принадлежащий *res publica*, а не торгошам, ты улыбаешься при мысли обо всем этом нытье про безработицу, как будто проблема в праздности, а не в работе, как будто люди выстраиваются в очередь за непосильным трудом, а не ради счетов для зачисления зарплаты (и, конечно же, удовольствий, которые она сулит); все эти люди, думаешь ты, не осознают, что

упразднить следует не что иное, как работу, поэтому не принимают ни малейших попыток сделать это хотя бы лично для себя. Сомнамбулы. Мыши. Мыши на витрине зоомагазина, без толку надрывающиеся в пластмассовом розовом колесе, винтики чужой машинерии.

Когда такси трогается с места, твою голову откидывает назад, так что подбородок задирается кверху, а торговый центр, еще не открывшийся, остается позади. Ты отстегиваешь ремень безопасности (бесшумно) и, не вынимая оружие из сумки, приобхватываешь спусковой крючок указательным пальцем, как бы обозначая движение, но не доводя его до конца. Потом снова вынимаешь руку из сумки. Ты замечаешь, что таксист, когда не следит за дорогой, поглядывает украдкой в зеркало, но смотрит, кажется, скорее на твое лицо (со стороны, вероятно, безучастное и тупое; возможно, он подозревает, что ты один из тех редких наркоманов со стажем, которым удалось перешагнуть сорокалетний рубеж), чем на руки. Ты говоришь ему, что передумал и тебе все-таки не надо на опушку леса, выйдешь на первой автобусной остановке (ты указываешь) после перекрестка.

Утреннее солнце добралось до пустых белых флагштоков, возвышающихся над огромным футбольным стадионом, который своими массивными стенами-трибунами и маленькими окошками напоминает средневековую крепость, и ты думаешь о том, что многие нашли свою смерть на таких вот спортивных аренах, когда-то больше походивших на театр военных действий, в каком-то смысле для войны их и строили, только цель заключалась не в обороне от захватчиков, а в удержании противоборствующих сторон взаперти; в стародавние времена футбольный матч (наверное) проводился без всякого поля, в мяч (наверное) играли в каждой деревне, причем разрешалось использовать любые приемы, например бить или пинать противников; в сущности, думаешь ты, имен-

но растущая потребность в порядке, системе, правилах игры и породила в итоге тот катастрофический беспорядок, который учиняет вся масса или часть болельщиков, входя в раж и превращая поле, обнесенное неким подобием романских замковых стен и размеченное, согласно регламенту, белыми линиями и флажками, в оголтелый хаос. Затем ты думаешь обо всех ставках на тотализаторе, которые сделал за последние двадцать лет, ни разу, однако, не выиграв сколько-нибудь значительной суммы.

Их неспешная весенняя детонация уже началась, все эти распускающиеся почки (своего рода миниатюрные всплески) напоминают по форме лисички, вот-вот развернутся полноценные листики и постепенно заглушат своей зеленой дымкой паутину серых, бурых, черных веток, будто цветной прожектор с постепенно увеличиваемой до максимума яркостью; через некоторое время куст покроется бесчисленными пучками зеленых листьев, ты вдруг вспоминаешь кусты на школьном дворе, давным-давно, если большим и указательным пальцами быстро, с нажимом, провести по всей длине колючей веточки, между пальцев останется маленькая розетка, похожая на охапку крошечных зеленых купюр, стоящих даже меньше, чем деньги из «Монополии», то есть совсем ничего, можно только, разжав щепоть, запустить ими в лицо товарищу. Глупый смех. Наверное, лето будет холодное и дождливое, как обычно, думаешь ты. Надо во что бы то ни стало раздобыть эти деньги. Ты начинаешь терять терпение. Сверху открывают откидное окно (на последнем этаже офисного здания напротив), и отраженный свет бьет в лицо, ты инстинктивно зажмуриваешься (как всегда, слишком поздно), ведь на сей раз это настоящий шквал яркого голубоватого света, как будто прямо под окнами рванула шашка, а почти мгновенно раздавшийся следом гром (от которого оконные стекла в буквальном смысле задребезжали) куда больше напоминает пушечный залп на судовой верфи (или что-то подобное)

по сравнению с трескучими, зычными, рокочущими грозовыми раскатами, когда они доносятся еще издалека.

Молния: ты будто наблюдаешь собственные зрительные нервы, которые вспыхивают и сгорают, вспыхивают и сгорают, снова и снова кремируются, в гротескно увеличенном виде, атмосферная неврология, видеть и исчезать, видеть и исчезать, внезапно вспоминать и снова забывать, вспоминать и забывать, понимать и не понимать, присутствовать и отсутствовать, что было и чего не было, и все это составляет некую параллель, нет, все это накладывается, думаешь ты, на хрупкие, дымчато-бледные (будто готовые рассеяться, стоит только подуть) очертания костей, как бы парящие в темном замкнутом пространстве, плавающие в полном пространстве тьмы, отдельная вселенная, колючие и вместе с тем нежные, а еще (даже на бесповоротно застывшем рентгеновском снимке) обманчиво динамичные, как бы находящиеся в постоянном, пусть и неуловимом движении (так золотая рыбка в аквариуме выглядит неподвижной, хотя на самом деле, если присмотреться, какая-нибудь неприметная, крошечная частичка ее тела непрерывно подрагивает); со стороны кажется, что твои позвонки, зияя пустотами, постепенно отдаляются друг от друга, медленно скользя в состоянии некоей невесомости (и беззвучности); это напоминает взрывающееся в замедленном темпе здание (хотя в данном случае больше подходит сравнение с трубой, разваливающейся на множество кусков) или, если проводить более свободную аналогию, изображения туманностей и тому подобных астрономических образований (они в самом деле постоянно расширяются или сжимаются), которые ты видел в энциклопедиях и научно-популярных журналах; иногда название таким объектам присваивают из-за сходства с той или иной вещью, а позвонки на фронтальных снимках будто глядят на тебя большими, круглыми, черными глазами, как у пчел или шмелей. Ты вдруг погружаешься в мысли о цветах и меде.

Коротко и ясно (в обрамлении даты, реквизитов института рентгенографии, а также фамилии и подписи врача, вроде бы от руки, однако при ближайшем рассмотрении заметно, что это факсимиле): *Патологических изменений в пояснично-крестцовом отделе и крестцово-подвздошном сочленении не выявлено.* Теоретически можно попытаться разглядывать снимки при свете молнии, однако на практике вспышки слишком короткие; двадцать минут назад (тебе было тогда двадцать лет) небо заволокло грозовыми тучами и пришлось все равно зажечь свет. Темно почти как ночью (но эта темнота другого рода, она дает течь, полупроницаемая для солнца, которое все это время — ты только сейчас понял — продолжает как ни в чем не бывало светить, пока идет гроза; уж не думал ли ты, что гроза мистическим образом временно поглотила солнце?), и рентгеновские снимки, как попало разбросанные вокруг лампочки (ты снял абажур), на вид тоже совершенно темные, а их гладкая матовая поверхность смутно отражает более светлые предметы вокруг.

Они выглядят полыми. Только теперь, поднимая снимки к свету лампы, ты, лысеющий мужчина возрастом в полвека, видишь собственный скелет, каким он был в твои двадцать, когда ты был молод и здоров, не считая легкой ипохондрии. Ослепленный странной двойной молнией (первый разряд будто отразился в гигантском зеркале; пришлось поморгать, как после фотосъемки со вспышкой), ты возвращаешься к столу. Застежка-молния и пуговица как бы парят в темноте на фоне бедер и нижней части позвоночника. Ты до сих пор помнишь, что пуговицу и ширинку тебе велели растегнуть, иначе снимок соответствующей части скелета получится менее четким, этот самый снимок призрачных позвонков, постепенно сужающихся по мере приближения к копчику, и раздвоенного таза, на удивление округлого, чуть ли не толстого, напоминающего куриные окорочка или изделия из теста, бледные, округлые буханки в паховой, стало быть,

области, впрочем, ясновидящий рентгеновский аппарат про-  
нищал половые органы, наблюдая голый скелет.

Возможно, ты любишь грозы потому, что в тот раз тоже была гроза. Только в более позднее время года, в конце лета. Поэтому тебе нравятся грозы и рентгеновские снимки. Рентгеновские снимки и молнии. Как будто молния своим электричеством может оживить рентгеновский снимок. Зонтик. Красный зонтик. Дождь лил как из ведра, хлестал, обрушивался на землю с такой силой, будто кого-то резко вырвало в раковину, вода с шипением заливала асфальт пенящимися, пузырящимися, бурлящими струями; всего через десять минут вдоль тротуара образовались такие лужи, что автомобили (включая вездесущие такси с погашенными фонарями на крышах) взметали по сторонам метровые водяные дуги, похожие на крылья ангелов, и ей все время приходилось удерживать зонт против ветра, почти сбивавшего ее с ног, а ты помогал расправлять вывернутые спицы, у тебя не было ни зонтика, ни дождевика, ты видел ее впервые в жизни и даже тогда, собственно, толком не разглядел, пока вы стояли на остановке такси под ее зонтом (она была почти на голову ниже, и со временем ты ужасно устал сгибать колени и наклоняться, но едва замечал это), однако ты помогал ей удерживать зонт под натиском ветра и ливня, просто предлог, она бы и сама прекрасно справилась; так твои руки могли касаться ее рук (но только слегка, в тот момент ты действовал осторожно, не желая показаться напористым); нет, здесь даже не было никакой тактики, ты не хотел навязываться, ты просто-напросто боялся, что она рассердится или придет в негодование, возмущится и выгонит тебя из-под зонтика, и тогда не на что будет рассчитывать, кроме хлюпающих ботинок и слишком тонкой, уже насквозь промокшей летней куртки (хотя тревожило тебя не это). Ты дрожал и стучал зубами от холода, а может, от нервного напряжения, и, когда в очереди перед ней или перед вами наконец остался только один человек, ты, испытыва ужас

при мысли, что она может просто сесть в такси и исчезнуть навсегда (ведь ты даже не знал ее имени), откашлялся и спросил, куда ей нужно, она ответила, и ты соврал, беззастенчиво солгал, притворно удивившись такому удачному совпадению, пришлось еще и повторять свои слова, так как раскат грома заглушил твое вынужденное вранье, но ты повторил.

Теперь, когда за окном гремит гром, ты, откладывая в сторону рентгеновский снимок и потирая глаза, думаешь о том, что могло бы случиться или, вернее, не случиться, если бы по той или иной идиотской причине ты не осмелился вымолвить свою ложь, а затем повторить ее более твердым голосом: вы бы так и не познакомились, вот что было бы; ты прожил бы другую жизнь, ни больше ни меньше; и ты вздрагиваешь, отчасти от некоей горькой и странной радости, при мысли о том громадном значении, которое приобретают подчас всего несколько слов, о короткой последовательности речевых звуков, удерживающей, будто тонкая паутинка, целое здание театра, того театра с пустой сценой, на которую вы скоро выйдете, каждый со своей стороны, остановитесь и взглянете друг на друга.

Социальное перепутье или ничья земля, ни так называемая лучшая, ни так называемая худшая часть города, возможно, в такой район перебираются временно, рассчитывая сделать карьеру и тогда уже прочно обосноваться в высших слоях общества (или наоборот, место для погрязшего в долгах, банкрота, медленно, однако неумолимо сползающего в типичные низшие слои?). Скромные или умеренно претенциозные частные дома, одноэтажные или двухэтажные (на газонах, подстриженных под ноль, иногда попадают всякие финтифлюшки, к примеру золотистые солнечные часы, красные садовые тачки или огромные железные горшки с ноготками, маленькие бассейны с фигурками купидонов (выдающие в хозяевах безнадежных чужаков в мире хорошего, солидного, традиционного буржуазного вкуса, к кото-

рому они, несомненно, стремились приобщиться), а вот практичные и функциональные плавательные бассейны прямоугольной формы попадаются крайне редко), в общем, частные дома с вкраплениями кондоминиумов, домов на четыре семьи и отдельно стоящих невысоких многоквартирных зданий. Почему бы не выйти здесь же, подумал ты с напускной беспечностью (а сам даже не был уверен, где вы находитесь, знал только, что в одном из этих промежуточных, ни восточных, ни западных кварталов). Пока вы стояли у калитки, она не держала над тобой зонт и вообще его не раскрыла (хотя дождь по-прежнему хлестал), но и заходить не торопилась; немного постояв так в нерешительности, она окинула тебя взглядом (или просто притворялась, а для себя уже все решила? только теперь, переводя рассеянный взгляд с черных рентгеновских снимков на нескончаемые фантазмагории молний за окном, ты понимаешь, что впоследствии так и не узнал у нее этого) и спросила: далеко тебе идти? — а ты ответил нечто вроде: ну, нет — или: да так, довольно-таки.

К счастью (или в этом был полусознательный расчет?), тебе не пришлось сидеть по другую сторону стола, этой потенциальной баррикады, которую вряд ли получилось бы обойти. Когда в комнате только два человека (разного пола, незнакомые друг с другом), невероятно трудно бывает, думаешь ты, пересесть на другое место. А вдобавок ночь, молнии, гром и дождь, барабанивший по черепичной крыше частного дома, где она снимала комнату, говорить в этой мансарде надо было очень тихо, все время почти шептать, и, лишь когда гроза прошла (наверное) окончательно, вы заметили светло-голубое небо и низкое, но яркое солнце летнего утра, а точнее утреннее солнце конца лета. Кажется, ту тень, думаешь ты, отбрасывало старомодное окно со шпросами, не на пол, а на стену над вами, и ты, растопырив пальцы, провел рукой так, чтобы тень от руки двигалась в сторону крестообразной оконной тени, а она, растопырив пальцы, продела-

ла то же самое в противоположном направлении, шутки ради, так что тени ваших рук, встретившись, исчезли внутри одной большой тени, будто на тайном свидании, какая-то часть тебя, о которой ты даже не подозревал, встретилась с какой-то частью нее, о которой она даже не подозревала, в некоем укромном или условленном месте, незнакомом для вас обоих, как и вы сами тогда, в свете утреннего солнца, были друг другу совсем незнакомы; возможно, это и есть та самая стадия, думаешь ты, отрешенно глядя на рентгеновские снимки своего юношеского скелета, лучшая из всех стадий влюбленности, когда есть только каскад нереализованных возможностей, будто стоишь перед необозримым парком развлечений, парком *тишины* (не считая слабого шума оркестра, настраивающего инструменты где-то за раскидистыми деревьями), на секунду закрываешь глаза, вздыхаешь в предвкушении у главных ворот, усеянных сияющими в темноте лампочками, прежде чем войти, а затем разбросанные по парку аттракционы становятся постепенно все более шумными, все более вульгарными, давка растет, зазывалы наглейт, забавы становятся все более примитивными, цвета все более кричащими, грим все более утрированным, цены, куда ни подойди, каждый раз подсакивают все выше, а удовольствия все меньше, и в конечном счете эта кутерьма оборачивается воющим кошмаром, как будто роскошный праздничный фейерверк устроили в тюремной камере; или наоборот, все может быть и наоборот, музыка затихает неуверенным диминуэндо, колесо обозрения останавливается, вопли на американских горках прекращаются, в тире заканчиваются патроны, на автодроме отключается электричество, даже пещера ужасов закрывается и уже никого не пугает, гравийные дорожки пустеют. И вот уже гаснут друг за другом все сверкающие лампочки и затейливые фонарики, пока весь этот чудесный мир увеселений не остается пустым и безлюдным, падают листья, вдруг наступают осень, заморозки, зима, идет снег, парк развлечений утопает в снегу, теперь он темный и заснеженный, один только снег светится.

Ты не произносишь этого вслух, только думаешь, ведь такое никому не скажешь, это прозвучало бы высокопарной сентиментальной жалобой (подразумевающей, что с тех пор, после расставания, ты никогда больше не был счастлив (ты и не был, но в благородном искусстве разговора этому факту нет места), что ты несчастен, что ты так и норовишь поплакаться кому-нибудь в жилетку), будто реплика из мелодрамы, рассчитанной на слезливых зрительниц, полузабытого романа прошлого века, но самому-то себе сказать можно, интересно, сколько людей говорят сейчас сами себе эти недозволенные слова, вслух или хотя бы мысленно: тогда я был счастлив, — и никому (*другим*, то есть либо нынешним счастливым, либо никогда не знавшим счастья, не счастливым и не несчастным?) не приходит в голову, что действительно можно, познав (непродолжительное) счастье в прошлом, уже не быть счастливым в настоящем, им это невдомек, ведь это и есть тот самый восьмой грех, который они, случись им оказаться отцами церкви (каковы они, быть может, и есть на свой лад), присовокупили бы к перечню смертных грехов наряду с Гордыней, Завистью, Гневом, Унынием, Алчностью, Чревоугодием и Блудом, короче говоря, Ностальгия; наверное, потому, думаешь ты (про себя, неизменно про себя), что такие люди — строители Будущего, грядущего, по которому они, как ни странно, в каком-то смысле ностальгируют, тоскуют, томятся, они вознамерились наладить производство своего грандиозного будущего во всецело приятной обстановке большой, только не чересчур, фабрики счастья, ее колеса уже вовсю вращаются, а потому незачем оглядываться назад, на сплошной компост из дней, навоз, дерьмо, пригодное разве что для удобрения будущего. Будущее, все хорошее по определению относится к будущему, ведь, если и там нет счастья, а только в прошлом, да и то всего однажды, зачем в таком случае поддерживать движение колес? к чему тогда стремиться? как после этого трудиться в поте лица, сияя от радости? в полной уверенности, что здесь куется счастье? что случилось бы с эффективностью?

с эффективностью, возвещающей своим бодрым гулом о грядущем счастье? Она отправилась бы псу под хвост. Но если не произносить этого вслух, то про себя можно и говорить, и вспоминать, главное — про себя.

Позвонки с зияющими пустотами напоминают смеющиеся рты. Ты убираешь черный снимок в конверт, вместе с остальными, замечаешь, погладив подбородок, что небрит, смотришь на часы, смотришь на костыль, опять на часы, встаешь со стула при помощи костыля, извиваясь всем телом (артродез тазобедренного сустава функционирует удовлетворительно; предпочесть безболезненную неподвижность болезненной подвижности было правильным решением, думаешь ты), и ковыляешь к окну. Постепенно становится светлее, день снова вступает в свои права. Ночь в виде иссиня-черной набрякшей облачной гряды сдвинулась на север; молнии еще мелькают, но уже не ослепительными вспышками, а тонкими белыми световыми трещинами на черном небе, за несколько долгих секунд до громового раската; пламя вспыхивает почти одновременно с резким звуком, ложится горизонтально, трепещет, будто вымпел на корме катера (спичка соответствует флаштоку) и, взметнувшись (на какую-то сотую долю секунды), сникает и гаснет, оставляя лишь тонкий белесый дымок, рассеивающийся так быстро, что ты едва успеваешь его заметить: в руке у тебя обгоревшая спичка (вторая по счету), а твоя спутница так и не прикурила.

Что-то про огонь, ну да, по-английски, она пропела это сквозь смех, цитируя, вероятно, какой-то шлягер, слишком современный для того, чтобы ты в свои пятьдесят шесть его помнил (интересно, на сколько лет она, собственно, тебя моложе), но в темноте твое сконфуженное лицо, к счастью, не особенно заметно, во всяком случае сейчас, пока ты еще не исполнил задуманное, то есть не чиркнул новой спичкой (которая бы тебя осветила). На сей раз ты действуешь

предусмотрительнее: достаемшь спичку, покрепче зажимаешь коробок между большим и указательным пальцами правой руки (ты левша) и, не прерывая быстрого чиркающего движения, от которого выделяется достаточно тепла, чтобы воспламенить серу, заводишь спичку под коробок (с надписью «Два эре для лучшей жизни»<sup>8</sup>), в сложенную ладонь, где пламя озаряет розовую кожу и просвечивает сквозь пальцы, будто изнутри снежного фонаря<sup>9</sup>; этот огонек тоже опасно подрагивает, пока ты осторожно, будто ложку с лекарством, несешь его к ее лицу, она наклоняется и вы встречаетесь на полпути, она убирает волосы подальше от огня, так что, когда сигарета и пламя соприкасаются, вместо волос твою руку задевает вытянутая тяжелая серебряная серьга, которая слегка ударяет по коже, покачиваясь наподобие маятника, замирающего, а затем возобновляющего движение в тот миг, когда она выпрямляется и благодарит с некоторой, пожалуй, иронией в голосе. *Она не курит, думаешь ты. Пока ветер не задул пламя, ты успеваешь прикурить и сам.*

А все-таки, думаешь ты, неожиданно повеселев (и все еще навеселе), или, вернее, чувствуешь, поскольку мысль является (и улетучивается) так стремительно, что продумать детали ты не успеваешь (напоминает географическую карту без надписей): когда она задела твою руку этой, в сущности, совершенно посторонней для тебя вещицей, своей сережкой (а не волосами или даже своей рукой, как ты, может, надеялся), ты соприкоснулся с целым неведомым миром, то есть вот с этой ушной подвеской, выбранной по каким-то неизвестным тебе причинам (украшение тебе не нравится), однако такой выбор должен объясняться ее личным вкусом, связанным, в свою

8 Слоган популярной марки спичек «Нитедалс йельпестиккер»: определенная сумма с каждого проданного коробка (в описываемый период — два эре) направляется на благотворительность.

9 Скандинавская рождественская традиция: небольшая пирамида из снежков с источником света внутри.

очередь, с глубинными индивидуальными чертами (ты предположил бы известную жажду внимания, возможно, некоторую экстравагантность), заставившими ее выбрать именно эту, а не какую-нибудь другую сережку и, в свою очередь, имеющими непосредственное отношение к ее, так сказать, внутренней сущности, включая так называемые иррациональные желания и влечения, уязвимые точки, страхи, или слабости, или готовность к проявлению агрессии, которые, в свою очередь, соотносятся со всей бесконечно сложной констелляцией детерминант, этим комариным роем главных и второстепенных богинь судьбы, чьими совместными усилиями человек и становится тем, кто он есть; но, так или иначе, какого мнения ни придерживайся о подобной выпренной ерунде, есть в этой женщине что-то такое, из-за чего в те две секунды ты едва не задрожал, нечто ошеломляюще *чужое* (вернее, женственное, притягательно чужое; будь она тебе противна, ты ощутил бы, скорее, только прилив отвращения), она была (и спустя две секунды все так же остается) незнакомкой, чей внутренний мир тебя не касается (как не касается тебя, к сожалению, и *ее* внутренний мир), зато сам ты, вполне возможно, скоро коснешься ее хотя бы снаружи (правда, ты охотнее прикоснулся бы к *ее* шее, чем к груди этой женщины); она спрашивает, над чем это ты смеешься, и ты, оставив свою сомнительную остроту при себе, отвечаешь: ни над чем, — но она настаивает: ни над чем не смеются, в каждой шутке есть доля правды, не надо мной ли ты там посмеивался, — и ты говоришь: да не было никакой шутки, а вот это я уж точно всерьез, — и, перехватив сигарету, свободной рукой обнимаешь спутницу за плечи. Она смеется, ничего не отвечая.

Сквер вымощен плиткой и окружен муниципальными клумбами, которые засажены отцветающими, загнивающими, усыхающими муниципальными цветами, насколько можно разглядеть в скупом свете муниципальных фонарей. Тем временем ваши сигареты докурены до самого фильтра или поч-

ти, и она бросает окурок на плитку не затаптывая (он падает на землю и сыплет искрами, а потом, прокатившись несколько сантиметров, застревает в щели между плитками), ты так же бросаешь свой и затаптываешь оба окурка. Когда вы останавливаетесь зачем-то у фонарного столба (к нему пристегнута тележка для развозки газет с большими резиновыми колесами), ты осторожно пытаешься поцеловать ее, воспользовавшись подходящим моментом; сначала попадаешь только в уголок рта, потому что она отвернулась, не проявив энтузиазма, зато следующая попытка оказывается успешной, по крайней мере сравнительно (целуя ее, ты забываешь свои мысли о том, каково было бы целовать *ее*), и, как только твой язык, будто палец зубного врача, начинает двигаться у нее во рту, образ ее лица (каким оно было за мгновение до поцелуя) исчезает, однако послеобраз, а точнее воспоминание о нем, продолжает как бы сочиться сквозь таящийся где-то в лабиринте мозговых извилин проектор: здоровый от свежего воздуха цвет лица, еще не растерявшего летний загар, необычно контрастирует с изящными тонкими (наверняка выщипанными) бровями (одну прерывает маленькая бородавка, странно, что она не удалила), тяжелые веки, которым как бы вторят эхом крути под глазами, или нет, зрачок — это будто брошенный в воду камень, от которого расходятся круги: сначала радужка, затем ресницы (верхние и нижние), потом веко и кожа вдоль нижнего края глаза, далее бровь и подглазный мешок и, наконец, едва заметные, сходящие на нет дугообразные морщинки над бровью и на скуле, далеко от центра; случись тебе стать камнем, тебя можно было бы бросить в эту воду, чтобы ты пропал навсегда.

Нет. Не в этих глазах. Глазах, которые остаются закрытыми, пока ты отстраняешь лицо после одного или нескольких поцелуев, считая, что они длились достаточно долго, глазах, которые в эту секунду открываются, моргая тебе навстречу, будто спросонья, а улыбка (то ли ласковая, то ли насмешли-

вая) распространяется с губ на все лицо (снова эта ассоциация с кольцами на воде), и теперь, улыбаясь, она старится на глазах, ее лицо сминается, как пустой пакет или скорее поверхность залежавшегося в пакете хлеба, трескается, будто лак на старинной картине, тонкие ниточки морщин проступают откуда ни возьмись, думаешь ты, нет, откуда-то изнутри, будто содержались там изначально, всегда там были, думаешь ты, присутствовали там, у нее внутри, с самого рождения, просто в ранние годы их не видно, а со временем они (в буквальном смысле) просачиваются наружу, все больше и больше, бегут ручейками, стекают бесшумно по лицу, размывая его своими руслами, из неиссякаемого источника, бьющего под лицом, будто там, внутри, выходят на поверхность грунтовые воды самого времени, а может, испещренное бесчисленными морщинками старушечье лицо находилось там с самого начала, в сложившемся виде, во всех мелочах, просто молодость скрывала его плотными слоями обманчивого грима, который постепенно стирается, да, будто уместившееся между одутловатым сморщенным личиком младенца и опавшим, морщинистым старческим лицом время (один долгий выдох: срок жизни) составляло лишь *quantité négligeable*, незначительный промежуток, забытую уже интермедию, предваряющую появление нового младенца, чья рожица, таким образом, с непостижимой быстротой оборачивается очередной старческой физиономией (ты представляешь себе, как морщины и борозды возникают одновременно, будто трещины на валуне, в тысячную долю секунды между детонацией взрывчатки и разрушением камня), и так далее, в лихорадочном темпе, так что в конце концов уже не разобрать, кто первичен, старый человек или младенец, и чье лицо, старческое или младенческое, смотрит на зрителя в тот или иной момент, а может быть, оба сразу.

Но, пока ты разглядываешь ее уже не юное лицо, улыбающееся тебе (дерзко и вместе с тем смущенно) впотьмах, тебя

мучит даже не увядание ее красоты (если эту женщину вообще можно назвать красивой), а осознание того факта, что твое собственное лицо подвержено аналогичному процессу (причем зашедшему еще дальше), но и здесь тебя гнетет не столько возможная утрата внешней привлекательности, сколько это опустошающее чувство чего-то несделанного, чего-то запоздалого, чего-то (неизвестно, правда, чего именно), что поздно менять, да и вообще поздно делать: тебе представляется нечто среднее между сновидением и сценой из фильма, ты бредишь по главной улице маленького городка, минуя магазины, которые один за другим закрываются у тебя за спиной, дверные замки, ставни и решетки на окнах, и ты, проходя все дальше, постепенно припоминаешь, что именно тебе было нужно, всякий раз нечто жизненно необходимое, и, хотя до последнего магазинчика еще далеко, ты заранее знаешь, что, пройдя весь город до противоположного конца пустынной, продуваемой ветром улицы, обязательно спохватишься, что у тебя нет вообще ничего, даже не ничего, а самого главного, ты обнаружишь отсутствие самого главного. Вот только такая воображаемая картина, притча, подразумевающая аллегорическую дистанцию, не может выразить той острой боли, которую причиняет тебе эта мысль.

Больно? Ты отвечаешь отрицательно, закусываешь губу и идешь дальше, прихрамывая из-за неловко ушибленного о газетную тележку колена. Она же настаивает, что надо подуть, закатывает твою штанину (ты вдруг чувствуешь ледяной ветер) и дует на ногу; удерживаемый (не ее физической силой, а собственной вежливостью) в ее руках, ты ощущаешь голенью холодный ветер позднего лета или ранней осени (но руки у нее, как ни странно, теплые, что, надо признать, приятно), осматриваешься кругом, поскольку отдаешь себе отчет в том, что староват для подобных глупостей, однако поблизости никого не видно, и ты кладешь руку ей на голову, разглядывая темные силуэты далеких холмов на фоне

насыщенно-кобальтового неба на западе, где еще теплится последний отблеск дня, (как будто бы) спрессованный в бледную, лоснящуюся кромку, жирный краешек синей небесной свинины, понемногу придавливаемый огромным черным корытом напирющей сверху тьмы, пока день, эта сальная прослойка между холмами и небом, не исчезнет окончательно.

Короткая пауза. Потом новый взрыв дружного хохота из ресторана на открытом воздухе, на сей раз более приглушенный, а затем снова ничего, кроме относительной тишины. Она целует твое ушибленное колено, и ты, ощущая ее дыхание, задумываешься о том, какими могли бы быть прикосновения *ее* рук и *ее* губ, боль постепенно утихает и сменяется неприятным холодом от ветра (усиливаемым *ее* испаряющейся слюной), и заверяешь ее, что теперь все в порядке, и она верит; отпускает широкую брючину, падающую под собственной тяжестью, и, осторожно похлопав по колену, произносит с нарочитой церемонностью: что скажет на это ваша супруга? — и тут же, пожалев о сказанном, прибавляет с пьяной серьезностью: это было глупо (ты бросаешь удивленный взгляд на собственное обручальное кольцо, будто желая объективно удостовериться в факте брака; и сразу теряешь к этому интерес), — и ты отвечаешь: а вот что она бы сказала (ты переходишь на комический фальцет): вернись-ка и стукнись коленом об тележку еще разок чтобы я видела как это случилось и мы могли избежать подобных инцидентов в будущем у меня кстати дел по горло и к тому же голова раскалывается; и, даже невзирая на опьянение, заглушающее мысли, подобно ревущему водопаду, ты слышишь, до чего убого это звучит, однако она все равно хихикает с плохо скрываемым восторгом или злорадством (этот смех кажется для нее слишком уж девчачьим, будто она напялила подростковые потертые джинсы, исписанные именами кумиров), совсем как публика любительского театра, столь же провинциальная, сколь и преисполненная бесхитростного воодушевления.

Ты ассоциируешь (про себя) мир со сценой, но такое сравнение сбивает с толку, предполагая слишком высокий уровень профессионализма, уместнее говорить о любительском театре, где все роли исполняются в одной и той же беспомощной манере, одновременно резкой и смазанной, переигрывающей и недоигрывающей, взвинченной и вялой, деревянной и неряшливой, обязательно что-нибудь да резанет глаз или ухо, невозможно отделаться от тягостного впечатления, что видишь слишком много и в то же время слишком мало, неловко смотреть на актеров, чрезмерно обнажающихся и вместе с тем как бы закованных в латы, ничего-то не удается им в полной мере, они неуклюже волочатся сквозь жизнь, все их попытки бросить вызов стереотипам оказываются такими же стереотипными, как сами стереотипы, и какой-нибудь модно одетый бизнесмен, от которого всегда разит дорогим лосьоном после бритья, бойко помахивающий портфелем, нахватавшийся псевдофилософских банальностей, призванных возвести зарабатывание денег в ранг интеллектуальной деятельности, — такой же смехотворный дилетант, как и пылающий праведным гневом наивный юный бунтарь, нацепивший на себя, будто воинские знаки различия, всякие тряпки с помойки и лезущий из кожи вон, лишь бы привлечь внимание вечно отсутствующего отца, по которому тоскует, зануды и ультраконформиста, не желающего задать сыну хорошую трепку; убедительны только боль и отвращение, и отчаяние, и горе, и страх, но они-то как раз и не проявляются, думаешь ты, запертые у каждого внутри, будто чучела грифов, целая стая, оживающая всякий раз, когда на них (то есть на грифов) никто не смотрит или же, возможно, в те исключительно редкие моменты, когда страдающий человек, забывшись, отвлекается от самого себя.

Если я не опасен? — переспрашиваешь ты, и она отвечает: ну да, нас же никто не увидит в темноте внизу. Поднялся сильный ветер. Кроны деревьев (темные силуэты на

фоне горизонта) ходят ходуном, раскачиваясь то синхронно, в одном направлении, то асимметрично, вразнобой (как будто гигантская незримая рука треплет зеленый мех), стволы и ветви, одни более, другие менее гибкие, клонятся из стороны в сторону разными воздушными потоками и завихрениями, однако, несмотря на поразительный драматизм зрелища, которому как бы недостает всполохов молний, раскатов грома и проливного дождя, на самом деле все происходит в почти полной тишине, нарушаемой только гулом машин, проезжающих где-то вдалеке, за полосой зеленых насаждений, и шумом ветра над вами.

Тропа, ведущая по склону вниз, явно рукотворная, извилистая, с множеством крутых виражей; по краям — подпорки, невысокие вертикальные колья, предотвращающие осыпание почвы и придающие местности (насколько можно судить в темноте) искусственный налет рустикальной старины. Сама тропинка усыпана мелким, хорошо утоптанном гравием, а на участках с особенно резким наклоном сделаны земляные ступеньки, укрепленные бревнами; эта ваша стезя (романтическое определение, которое в данном случае, надо признать, несколько хромает) до того узкая, крутая и непредсказуемая, что идти дальше (так сказать) соединив объятия уже невозможно, тем более что вы оба пьяны, приходится довольствоваться тем, чтобы держаться за руки, опираться друг на друга, вовремя подхватывать один другого, брести как бог на душу положит, то она впереди, а ты за ней, то ты впереди, а она за тобой; или она вдруг уцепится, споткнувшись, за отворот твоей куртки, чтобы не упасть, а ты, в свою очередь, хватаешься за торчащую ветку, чтобы не грохнуться следом, и, пока вы стоите вот так, шатаясь и размахивая руками, будто семафоры, или, вернее, сразу после того как равновесие оказывается восстановлено, она говорит: как думаешь, мог бы ты в меня влюбиться? — и ты понимаешь, что не замедлил бы с ответом, если бы этот вопрос задала *она*, но

этого никогда не произойдет; это не *она*, и ты отвечаешь: не поздновато ли для таких разговоров? — но она продолжает не слушая: ты *должен* меня полюбить иначе какой вообще смысл по-моему все люди будь они посмелее просто ходили бы и орали о своем желании быть любимыми как будто ты заблудился в лесу и вдруг понял это и перепугался и орешь чтобы хоть кто-нибудь услышал нет я не хочу сказать что совсем без разницы кто но... — и на протяжении этой удручающе сентиментальной тирады ты смотришь вверх, на раскачивающиеся туда-сюда силуэты деревьев, хотя внизу, где вы находитесь, ветра почти не чувствуется, будто наверху, в листве, разворачивается грандиозная драма, дикая и сокрушительная, но никак вас не затрагивающая, телевизионный репортаж об урагане в далеких краях, а между раскачивающимися туда-сюда ветками ты замечаешь большой пассажирский самолет, точнее, его огни, некоторые горят ровно, а другие мигают, красные и белые, и, когда она умолкает, даже различаешь гул его двигателей.

Ручей. Широкий ручей внизу, в темноте, его отдельные тусклые проблески (вероятно, их появление зависит отчасти от деревьев, которые раскачиваются на ветру, то загорая листвой, то открывая не до конца еще потемневшее небо, отчасти от течения), отблески на поверхности струящейся воды. Вы стоите и молча смотрите на ручей, потом она наклоняется за каким-то лежащим на земле предметом, красноватым, округлым и продолговатым; подняв его и увидев всего лишь пустую банку из-под прохладительного напитка, она тут же, не размахиваясь, просто роняет ее обратно (легкий металлический шорох в темноте) и произносит как бы в пространство: ты когда-нибудь кого-нибудь насиловал? — ты переспрашиваешь: что? — а она говорит, не дожидаясь ответа: я как-то разговорилась с одним парнем в баре за границей остальные кстати сказали мне что я спятила в одиночку разгуливать короче он в подробностях расписал как

мог бы меня изнасиловать рассуждал как эксперт засунул бы два пальца мне в ноздри и одновременно зажал бы рот что-бы я не кричала а руки заломил бы за спину а когда я усомнилась что ему бы это удалось он молча засучил рукав и показал предплечье на котором мускулы так и перекатывались он занимался силовыми тренировками в спортзале довольно славный был вежливый заказал мне апельсиновый сок и оставил адрес прежде чем уйти.

Ты никак не возьмешь в толк, к чему она, собствен-но, клонит, и понимаешь только то, что чего-то не понимаешь, и думаешь, что *она* никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах не задала бы подобный вопрос и не рассказала бы подобную историю в подобной манере, хотя, возможно, ты сам себя в этом убедил, ведь *ее* ты знаешь недостаточно хорошо, по правде говоря, совсем не знаешь, вдруг она как раз (тебе отвратительна сама мысль об этом) вполне способна задать подобный вопрос и рассказать подобную историю в подобной манере, хотя у тебя сложилось впечатление, что она, как говорится, не такая, но возможно ведь, что она просто менее раскованная. Ты думаешь, что, если бы только мог предвидеть это приключение (или «приключение»), уже завязал бы с чертовыми лекарствами, ты ведь понятия не имеешь, получится ли у тебя, если из этого вообще что-нибудь может получиться, ты ни разу не пробовал с тех пор, как начал их принимать, в худшем случае перед тобой, возможно, стоит выбор: либо жить и не иметь сексуальных отношений, либо умереть и иметь сексуальные отношения, хотя тогда уж в обратном порядке, и ты вдруг с достоинством произносишь: нет я все-таки не из тех кто насилует женщин, если ты к этому ведешь, — а она говорит: так я и думала, — и, обняв тебя и положив голову тебе на плечо, произносит, опять-таки с пьяной серьезностью: ты такой милый. Подобного рода реплики тебе претят. А впрочем... Грудью ты чувствуешь ее грудь. Слышно, как ветер бушует

в деревьях над вами, непрерывное, как бы чем-то сдерживаемое, мощное движение листвы, ветвей и сучьев, как если бы клетка рвалась прочь от заключенного в ней дикого зверя.

Теперь лесок сливается в сплошную темную массу растительности, а ты, пытаясь сообразить, чего бы такого сказать или сделать (помимо поглаживания по спине и крепких объятий), тупо смотришь в растущую темноту (в двойном смысле; хотя не совсем, ведь ни деревья, ни цветы, ни трава уже не вырастут выше); головешка (или верхняя треть головешки) насквозь пронизана жаром, будто пропитанная кровью и гноем повязка, красно-оранжевая и желто-белая древесина тлеет без пламени; можно представить себе, что каждый раз, когда он принимается раздвигать огонь, наиболее выпуклые части неровной поверхности разгораются кремово-белым, а затем снова меркнут до светло-красного.

Ты видишь, что кусок древесины он поднес вплотную к маленькой железной лампе, емкость которой (в форме миниатюрного котла), вероятно, заполнена маслом, еще не подожженным, ведь это не лампа, а головешка освещает лицо мальчика, создает поднимающуюся от крыла носа треугольную тень, выдает заметное углубление между скулой и ухом, оставляя в темноте всю голову, от лба до затылка, так что лицо кажется почти плоской маской (но откуда эта неуместная ассоциация с «маской для забоя»? может, дело в том, что на морде у крупного рогатого скота, забиваемого как раз при помощи такого инструмента, нередко встречается белая отметина наподобие маски?), и только на хрящевые изгибы ушной раковины ложится слабый отблеск. Но точно так же как тление головешки становится ярче или бледнее в зависимости от того, дуют ли на нее, так и отсвет на лице мальчика становится ярче или бледнее в зависимости от того, дует ли он, иными словами, освещенные участки кожи расширяются, а затемненные — сжимаются, когда он принимается дуть, тогда как затем-

ненные участки будут расширяться, а светлые — сжиматься всякий раз, стоит только ему прекратить дуть, чтобы перевести дыхание.

Ты забыл все застольные речи, но до сих пор помнишь во всех подробностях длинный накрытый стол и гостей под густолистными, только что отцветшими яблонями, летом, на твой шестидесятый день рождения, и не без грусти думаешь, что он пока достаточно юн, чтобы находить процесс зажигания лампы захватывающим, еще способен воспринимать вещи, которые впоследствии станут обыденностью, более или менее досадной рутинной (засветить масляную лампу с наступлением темноты), как важное и ответственное действие чуть ли не литургической торжественности. Окружающей мальчишеской обстановки не видно. Если бы головешку, допустим, вдруг окунули в ведро с водой, все помещение, очевидно, погрузилось бы в непроглядную тьму. (Подчас ты ненавидишь, презираешь, а то и стыдишься себя из-за влечения к этой полутьме, такой, что ни говори, утешительной, к этому мягкому многовековому *clair-obscur* с его теплыми, насыщенными цветами, к этому вневременному спасительному прибежищу, где могила — все равно что колыбель, баюкающая тебя бесшумно и вкрадчиво, будто гондола, ты не умираешь, а спишь с открытыми глазами, впивающими, вбирающими родниковую воду утешения из рук милосердной тьмы; одновременно ты силишься забыть нечто другое, терроризирующий тебя белый свет, слепящий свет, ни искусственный, ни естественный, в коридоре без начала и конца, без дверей, без окон, без других людей, в голом бетонном коридоре, где пытка белым светом продлится неопределенное время, ведь закрыть глаза невозможно, ты в панике мчишься сквозь него не уставая, отсюда невозможно выбраться, выход никогда не оказывается ближе, чем был в начале, а если развернуться и побежать в другую сторону, то выход так и не станет ближе, чем был до разворота, там царит полная тишина, но ты слышишь несмол-

кающий крик, тамошним воздухом невозможно дышать, но ты не испытываешь удушья, там не на что смотреть, но ты не можешь зажмуриться, тебе никогда не вырваться из невыносимого белого света, немеркнувшего света страха без единого кубического сантиметра тьмы, боль — это чистый свет, который никто не в силах погасить, свет — это чистая боль, а темнота — утешение, тьма неведения, лучше бы никогда ее не рассеивать, ты знаешь мало и все-таки слишком много; забыть бы тот коридор, и, как правило, тебе удастся его забыть, но он никогда не перестает тускло светиться где-то внутри, будто ты лампа, яркость которой убавили, но могут увеличить до максимума в любой момент, то есть в тот, когда паника по новой погонит тебя сквозь самого себя.)

Костюм не щегольской, но и не бедняцкий. Грудь прикрыта чем-то вроде доспеха или какого-то кожаного фартука. При свете тлеющей головни две пустые петли для пуговиц на манжете сквозят красным, будто окна темного здания, где вспыхнул пожар. От интенсивного выдоха лицо деформируется наподобие влажной глины или жидкого стекла, а область ниже курного носа надувается, будто у обезьяны, причем не только щеки, но и участок между нижней губой и подбородком, а еще больше — между верхней губой и носом. В эту секунду он, дуя на головешку, на глазах приобретает разительное сходство с обезьяной, особенно с шимпанзе, как будто простейшее дыхательное усилие одновременно вдыхает жизнь в, так сказать, френологически доказуемый атавизм, и тебе приходит на ум, что так и любой человек, если за ним (во всяком случае, когда ему так кажется) никто не наблюдает (либо между наблюдаемым и наблюдателем царит полное доверие) или он просто-напросто забылся, может морщить лицо самым причудливым, самым звероподобным образом, совершенно бессознательно, например ковыряя в носу или концентрируясь на какой-нибудь сложности в своей работе (если же такое случается с тем, кого любишь, особенно на ран-

ней стадии влюбленности, то недолго и смутиться, расстроиться, приуныть: не верится, что любимый человек вообще может, так сказать, *содержать* в себе подобные физиономии, похожие на отталкивающие, безвкусные резиновые маски).

Маленькая масляная лампа, которая всегда остается незажженной (и никогда не загорится), и его лицо, обезьянья морда, как бы напоминающая о близком эволюционном родстве человека и обезьяны (какая-нибудь лошадь или, допустим, птица, обладай они даже такими же крупными и пухлыми щеками, ни за что не достигли бы столь убедительного сходства с обезьяной), об их общем происхождении, известном тебе, но неизвестном ни ему, ни другим людям в его вероятном окружении. Какой-нибудь современник, случись ему увидеть эту обезьянью рожу, промелькнувшую в свете тлеющей головешки, и не подумал бы заподозрить здесь серьезную генетическую связь; просто обезьянья морда, разве что немного забавная, только и всего, тогда как ты прозреваешь здесь процессию всех ныне живущих и вымерших приматов мира, всех этих дриопитеков, рамапитеков, лори, катт, колобусов, гиббонов, павианов, макак, горилл, шимпанзе и полуобезьян, питекантропов, австралопитеков и как их там еще, и все они теснятся и толкаются нетерпеливой очередью под тонкой кожей лица, за правильной формы ртом, руками и глазами, которые, действуя сообща, подчиняют огонь (что не под силу ни одной обезьяне), соответственно дую, держа и наблюдая (сознательно, а не инстинктивно), что, вообще говоря, представляет собой невероятно сложное, доступное только на высоком уровне развития взаимодействие хватательной способности, дыхания и осмысленного, или рефлексирующего, взгляда (когда глаза способны видеть себя в зеркале, сознавая, что видят сами себя), взаимодействие, которое укрощает огонь, изменяя тем самым соотношение света и тьмы, так что уже не приходится зависеть от естественных источников освещения, чтобы видеть, иными словами, надобность в сот-

нях тысяч или миллионах лет для развития острого ночного зрения отпадает, можно разгонять мрак с помощью раскаленной головешки, поднесенной к железной масляной лампе, которая будет гореть ровным пламенем на протяжении многих ночных часов. К несчастью, страх темноты прилагается.

Лампа остается незажженной. Ты наблюдаешь бесконечную застывшую секунду перед самым возгоранием масла, пока тлеет одна головешка. Поэтому ты так и не увидишь свет лампы, не узнаешь, куда ее затем перенесут, где поставят, что именно она будет освещать (книгу, писчую бумагу, рукоделие, монеты, еду, часовой механизм, упряжь, игральные карты, ноты? или просто лестницу вверх, в спальню?), кому она будет светить (отцу мальчика, матери, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, прочим родственникам, друзьям, отчиму и мачехе, еще каким-нибудь опекунам, ремесленнику, священнику, чиновнику, уполномоченному по делам призрения или совсем другим людям?); следующие секунды или минуты, которые могли бы пролить на это свет, для тебя окутаны тьмой, точно так же как и секунды или минуты перед этим (предполагаемым) мгновением, а если бы не горящая головешка, ты ничего бы и не разглядел, совсем ничего. Между тем первое, что ты видишь, — свет, который проникает в замочную скважину (она представляет собой не узнаваемую схематичную фигуру из соединенных круга и трапеции, а желтую световую точку, будто кто-то пробурил отверстие в самой темноте) и тянется длинной прямой линией к твоей голове, сквозь замочную скважину в двери, которой ты никогда не пользуешься, потому что кресло в нее не проходит.

Не хватает какого-то звука. Но какого? Звука ее дыхания или, лучше сказать, той сиплой одышки с примесью храпа, которая и есть ее дыхание (до чего же нелепы, думаешь ты, все эти разглагольствования об *умиротворяющих звуках чьего-то дыхания под боком*) и которую ты каким-то непостижимым обра-

зом приспособился игнорировать, вернее, в какой-то момент тебе не оставалось ничего другого, кроме как наконец уснуть от непреодолимой усталости посреди этого оглушительного биологического шума, его-то и не хватает. (Ты давно задумал написать трактат о женском храпе.) Твоя рука, будто щупальце, тянется обшарить соседнюю половину постели, сначала осторожно и нерешительно (как бы готовая моментально втянуться обратно, наподобие склизких рожек улитки); потом расширяющимися кругами в доступном тебе радиусе действий, более энергично, активнее похлопывая.

Никаких признаков человеческого присутствия, только смятое одеяло. Рука не обнаруживает ничего примечательного за исключением того, что свою половину она, вопреки обыкновению, оставила незастеленной. Ты невольно зажмуриваешься, включив ночник над кроватью, но сквозь моргание и резь тебе удастся констатировать только одно: руки уже видели то, в чем теперь могут убедиться глаза; пустая, незаправленная половина постели. Приоткрыты ли дверцы шкафа? Валяется ли на полу одежда? Где телефон? В пределах досягаемости? Или под кроватью? Стул у самой кровати или слегка поодаль? Или совсем далеко? Трудно сказать при недостаточном освещении. Люстра. Если бы только можно было зажечь люстру. Ты видишь белый пластмассовый прямоугольник выключателя, выделяющийся светлым пятном на противоположной стене, треклятый выключатель, ты думаешь об этом уже года четыре, а то и все пять лет, давно надо было вызвать электрика, который переставил бы его на стену над кроватью, чтобы ты мог дотянуться, но теперь слишком поздно (что ты, собственно, хочешь этим сказать? что верхний свет уже никогда не придется зажигать?), у тебя ведь и так забот полон рот, верно? Еще бы.

Духовая трубка. Пожалуй, стоило бы поупражняться в стрельбе сушеным горохом (или скорее стальными шариками) из трубки, до тех пор пока не наловчишься зажигать

свет с постели, попадая по клавише выключателя с первой попытки, или, может, из рогатки, что более реалистично; ну хорошо, а кто подбирал бы горошины (или стальные шарики) с пола? (при условии стопроцентной точности попадания их потребовалось бы двадцать восемь, ровно двадцать восемь горошин (или стальных шариков) в неделю, думаешь ты, а именно: 1 включить свет вечером, 1 выключить свет вечером, 1 включить свет утром (во всяком случае, зимой), 1 выключить свет утром (во всяком случае, зимой), = 4, умножить на 7 = 28, двадцать да еще восемь, двадцать восемь горошин (или стальных шариков) в неделю, но только при условии стопроцентной точности попадания, которой нельзя гарантировать; при точности попадания в семьдесят пять процентов ( $3/4$ ) к полученному числу пришлось бы прибавить еще четверть, итого тридцать да еще пять, тридцать пять, ровно тридцать пять шариков, и это только в неделю, чтобы включать и выключать верхний свет) ну и кто же? да ты сам, разумеется, со своего кресла, все равно сидишь дома, плюешь в потолок и гниешь тут постепенно, сам бы и подбирал, веником и совком, нет, ручкой от швабры с отпиленной щеткой и прилепленной на конце жвачкой, так вышло бы элегантнее, можно зарегистрировать новый вид спорта для инвалидов, со временем ты, пожалуй, установил бы олимпийский рекорд в сотню сухих горошин (или стальных шариков) среди мужчин.

Болезненного бледно-зеленого цвета, чашевидной формы, в оранжевых и желтых, оттенка заварного крема, бабочках, с ярким, безукоризненно симметричным орнаментом из жестких, как плоские хлебцы, листьев, будто бы вырезанных из тончайшего льда, и, что немаловажно, с крашеной желтой шишечкой, от которой по всему кругу, напоминающему барочный торт, разбегаются изогнутые отростки напоподобие языков, она торжественно венчает чашу снизу, на южном полюсе люстры, будто декоративная накладка для соска,

похищенная у танцовщицы в сомнительном ночном клубе. Люстра. В летних вечерних сумерках, когда окно открыто из-за жары, она, ты помнишь, как магнитом притягивает к себе комаров, ночных мотыльков и мух, не в последнюю очередь мух, которые частенько после столь же беспокойных, сколь и бестолковых блужданий обретают там, наверху, свое последнее пыльное пристанище, а когда свет зажигают, сквозь стекло просвечивают тени дохлых насекомых, мертвые роли в мертвом театре теней. Мушинные часы. Ты думаешь, что никогда не забудешь тот вечер, когда она ушла (провести время, как говорится, в женской компании) и все никак не возвращалась, а та муха, самая обыкновенная комнатная муха, выбрала из всех сотен тысяч городских ламп, зажженных в мягкой полутьме летнего вечера, именно эту люстру и принялась ползать внутри открытого плафона или, вернее, вдоль бортика, по самому краю, причем из-за лампы, горевшей позади, тень мухи выросла до несусветных размеров, огромная тень, подметающая потолок широкими взмахами, ритмично, неумоимо, снова и снова, по одному и тому же кругу, в одном и том же направлении, живая стрелка часов, на фоне света и своих мертвых сородичей, снова и снова по тому же бесцельному кругу, все та же разросшаяся тень, метущая потолок, живой или, вернее, умирающий часовой механизм, кругами, кругами, все та же гигантская тень маленького неразумного насекомого; слепые ослы, со скрипом вращающие жернова или ворота, лошади или тощие быки, которые, сами того не ведая, поднимают из колодца воду или мелют зерно, ничего не осознавая и ходя по кругу, по одному и тому же кругу, хотя нет, такое сравнение не годится, думаешь ты, ведь это было абсолютно бесполезно, никакое зерно не мололось, никакая вода не поднималась, наоборот, с каждым кругом лишь расходовалась крошечная порция накопленной энергии (полученной из сахара, пота, экскрементов, варенья, сока растений, падали, короче, всего того, чем муха могла поживиться за день), с каждым кругом

по краю стеклянного плафона одной крошечной капелькой энергии меньше, хотя на скорость это не влияло, она оставалась почти неизменной, не считая редких коротких передышек, пауз для размышлений (как бы), будто муха способна обдумать свое положение, прежде чем продолжить абсолютно бессмысленное путешествие в исходную точку, ту же самую точку на каждом кругу, или же в любую другую точку круга, снова и снова; изматывающие мушиные часы, из-за них ты оказался на грани умоисступления, в клиническом смысле слова, казалось, что кружение сопровождается мучительным, нестерпимым шумом. А встать и выключить свет, чтобы положить этому конец, ты не мог.

Только гул, а затем дребезжание и тихое клокотание, издаваемые фреоном, блуждающим по искусственным пещерам и галереям системы охлаждения, вот и все. С улицы тоже никаких метеорологических звуков, никаких завываний ветра, никакого стука дождя в окно. Вероятно, там полное безветрие и идет снег, а может, морозно, ясно и полное безветрие, но тебе этого не видно, ты не можешь встать, раздвинуть шторы и выглянуть в окно, а заодно проверить, сколько градусов на термометре. Ты лежишь, где лежал. И в который раз думаешь, что для тебя, лежащего здесь, вынужденного и впредь лежать здесь, неизвестно сколько еще, вероятность потрогать, к примеру, белеющий на дальней стене выключатель буквально настолько же мала, насколько и видную в окно звезду. Но сейчас и звезды не видно, потому что окно так же недосыгаемо, как выключатель, не говоря уже о том, что находится за окном, об этой плотной массе, усыпанной световыми точками, повторяющими подъемы и опускания ландшафта, как если бы они были его частью, хотя на самом деле городские постройки — это некие паразиты *ad hoc*, но, как бы там ни было, среди этих огней, под ними, за ними кишмя кишат люди, издаലെка невидимые, а все-таки люди, которых ты, впрочем, все равно никогда не повстречаешь и не попривет-

ствуешь, но, может, и невелика потеря, думаешь ты, лежа на своем месте, по-прежнему лежа. От твоего чудовищного тела, похожего на полураздавленного кузнечика, думаешь ты, можно с тем же успехом оставить одну голову, говорящую голову, которую выносили бы к гостям в серебряном судке с крышкой, крышку поднимали бы — и, о чудо! — ты начинал бы говорить с гостями, поддерживать умную беседу на всевозможные темы, как настоящий человек, а не просто голова, каковую ты, собственно, собой и представляешь, а когда гости соберутся уходить, ты бы вежливо попрощался, крышку водружали бы на место, а серебряное блюдо с твоей головой уносили обратно в шкаф. Или что-нибудь в таком роде.

Восемь минут седьмого. И что она там только делает, наверху, а может, и на улице, в такой час? — спрашиваешь ты себя. Тебе столько же лет, сколько в минуте секунд, плюс еще семь. Если бы год занимал такой же долгий — или такой же короткий — промежуток, как и секунда, твой возраст составлял бы сейчас одну минуту семь секунд, чего, думаешь ты, хватило бы за глаза, и ты уж точно не кланчил бы у вышших сил, чтобы сподобили тебя полутораминутной, а то и более глубокой старости. Хотя, впрочем. Если только не. В том гипотетическом случае если. Разве что. Все эти люди, думаешь ты, способные ходить, ходить на своих ногах; когда им кричат: уйди! вон! убирайся! — они могут уйти, убраться восвояси, а если будет надо, то и убежать, умчаться, все эти люди полагают, что ты смирился, принял, как говорится, свою участь, что ты продолжаешь внушать окружающим бодрость духа своей мужественной улыбкой, давно распрощавшись с надеждой встать на ноги, но в действительности ты, как и другие калеки, не реже двух раз в неделю видишь по ночам во сне, что ходишь, и по крайней мере дважды в месяц — что бегаешь, и как минимум трижды в квартал — что танцуешь, а пока бодрствуешь, не проходит и дня без мыслей о том, каково быть здоровым, без фантазий о чудес-

ном исцелении, о новом чудодейственном средстве, революционном лечении, и ты снова и снова пережевываешь тянущееся, неудобоваримое, сладковатое мясо этих снов и мечтаний, каждый чертов день напролет. Но не сейчас. Тебе надо помочиться.

Ты зовешь ее, выкрикивая ненавистное имя в темноту за пределами светового пучка от ночника, в сторону приоткрытой раздвижной двери в гостиную, где, по твоим расчетам, должна находиться приоткрытая дверь в прихожую, а за ней — приоткрытая дверь в кухню, а может, и в ванную. Ты будто бы даже слышишь, как твой голос рыщет по комнатам, вплоть до щели между столешницей и плитой (где скапливаются ворсинки и засыхают остатки пищи), наподобие вихрящегося весеннего ветерка, который гонит песчаную посыпку по тротуару, сметает по ступенькам, заносит на середину двора, прежде чем улечься и исчезнуть без следа. Где она? Где телефон? С огромным трудом изменив положение сохранившего подвижность туловища, ты обеспечиваешь себе возможность пошарить под краем кровати; потом отказываешься от этой затеи и с грехом пополам вновь укладываешься на спину, заметив пустую телефонную розетку с четырьмя дырочками, которые в совокупности напоминают стилизованное лицо, поющее или говорящее; это означает, что телефон в гостиной, где до него не добраться, а если позвонят, ты не сможешь взять трубку, придется терпеливо слушать звонки, определенное количество звонков, до тех пор пока звонящий не сдастся, останется лишь дожидаться, чтобы последний услышанный тобой звонок последним же и оказался, он прозвучит рано или поздно, и наступит прежняя тишина.

Ты лежишь, где лежишь. Глаза уже привыкли к полутьме, и тебе хорошо видно, как поблескивает нержавеющей сталь кресла. Оно стоит не сбоку от кровати и не в изножье, а поодаль, у окна, в углу между шкафом и окном (и ты клянешь эту

идiotку, которая его туда задвинула, просто ради удобства, нет, из лени, чтобы она, здоровая, ходячая, бегающая туда-сюда, не должна была спотыкаться о несуразное устройство для перемещения инвалидов). Теоретически можно попробовать потихоньку соскользнуть на розовый махровый коврик (как же ты ненавидишь розовый цвет!), дотащиться спиной вперед, полусидя, до коляски и, наконец, забраться в нее, приподнявшись на одних руках; на практике такое удалось бы тебе тридцать или даже двадцать лет назад, но теперь ты старик, престарелый калека и знаешь, что теория — это одно, а практика — совсем другое, в итоге ты выбьешься из сил и вместо нынешней мягкой постели придется лежать где-нибудь на жестком полу, а потому ты остаешься в кровати, как есть.

Дом заполнен гудящей тишиной, как бы увеличивающей его вдвое. Что она сказала тогда? Жить в браке с тобой — все равно что постоянно ходить с рюкзаком, набитым камнями, ни на что не годными камнями, сказала она; присесть и передохнуть можно, а снять нельзя, так и сказала. Когда придет социальный работник, сегодня или завтра? Ты не помнишь. А ведь она всегда была такой, думаешь ты, трусливой молчуней, молчаливой трусихой. Делала все, о чем ни попросишь. Нет, не все. Только то, что должна была. И ни на йоту больше. Никаких прихотей у тебя и в помине нет. Того, что она называет прихотями. Но ведь не может быть такого, чтобы эта мегера, думаешь ты, с ее скрипучим голосом и притворной добротой? Могла бы тогда, что ли, оставить, думаешь ты, принесла бы хоть телефон, думаешь ты. Как же быть, если и телефон, и кресло вне досягаемости? Когда придет социальный работник, сегодня или завтра? Ты не помнишь. Тобой вдруг овладевает желание позвать на помощь, как будто ты лопнешь, если не позволишь внутреннему напряжению вылиться в крик, но тебе удастся сдержаться. Ты не впадаешь в панику. Стараешься сосредоточиться на преимуществах своего положения, а именно на отсутствии необходимости вставать и что-либо делать,

строго говоря, можно с чистой совестью взять и снова уснуть, ведь ты абсолютно точно не в состоянии ничего предпринять, кроме как оставаться в постели.

Правда, тебе надо помочиться. Но вдруг она? — думаешь ты, вдруг она и впрямь? насовсем? — думаешь ты, так это же означает (и тебя, как сквозняк в груди, пронзает радость, почти блаженное нервное предвкушение, будто у тебя внутри сдернули чехол с люстры из горного хрусталя и зажгли ее к празднику), и в тот же миг ты понимаешь, что это конец, конец вечному верещанию, вечно дурному настроению, вечному отсутствию воображения (уж не потому ли, в сущности, она за тебя и вышла: ей, поди, просто не хватило фантазии представить себе совместную жизнь с инвалидом), твердо-лобому усердию, вечной услужливости (вперемежку с незапными приступами цинизма, так смирный песик, которому хозяева не нарадуются, рано или поздно нападает и презлобоно в кого-нибудь вцепляется, к безграничному изумлению вышеназванных хозяев, а потом, как бы пытаясь избежать усыпления, снова превращается в преданного, безобидного семейного пса, взирающего на владельца и израненную жертву теми же печальными, покорными, почти человечьими карими глазами, что и прежде), она ведь делает все, о чем ни попросишь, нет, не все; только то, что должна, и ни на йоту больше; в таком случае ты, о да, наконец, слово-то какое, думаешь ты, свободен, свободен! пришел конец твоей слишком долго продлившейся зависимости от гнусного существа, которому ты (сжимая зубы, подавляя гнев, преодолевая физическое отвращение) вынужденно позволял себя волочить, держать, подпирать, мыть, толкать, поворачивать и возить, и так далее и тому подобное, в таком случае со всем этим покончено, проехали, отмучился, свободен! — думаешь ты, свободен! делать что заблагорассудится, без нее на буксире или, вернее, не тащась на буксире за ней, нет, все-таки без нее на буксире, это еще кто кого тянет, разве нормальный мужчи-

на не развелся бы с ней давным-давно, думаешь ты? Еще как. Но теперь, что ни говори, ты свободен.

Эти сладостные размышления, обрастающие все новыми подробностями, занимают тебя долго, то есть по меньшей мере несколько минут, пока не наталкиваются на тот прискорбный факт, что ты пожилой и никому, по большому счету, не интересный калека, неспособный встать с постели и выйти в мир, что слишком поздно, определенно слишком поздно начинать новую жизнь, что ты никогда не сможешь делать все, что вздумается, поскольку денег у тебя никогда не будет достаточно, и что даже самая гулящая санитарка в интернате для инвалидов не разрешит такому, как ты, потискать ее; и чем дальше ты размышляешь, тем яснее осознаешь, что твоя вероятная новообретенная свобода ни на что не годна, она такая же никчемная, как лотерейный билет с единственной отделяющей обладателя от главного выигрыша цифрой (тебе приходит в голову, что ведь на практике так и должно случаться каждый раз, во время любой лотереи: кто-нибудь да покупает билет, недобирающий до главного приза единственной цифры, ни больше ни меньше, номер целиком совпадает, только, допустим, вместо четверки оканчивается на тройку, и такой билет (оканчивающийся на тройку) точно так же бесполезен, как и любой другой, к примеру тот, у которого номер отстоит от выигрышного на пять тысяч шестьдесят девять).

Ты лежишь, где лежал, в постели. Когда придет социальный работник, сегодня или завтра? Ты не помнишь. Телефон вне досягаемости. Кресло вне досягаемости. Туалет вне досягаемости. А в пределах досягаемости — слова или обрывки слов, например: *каюта, аромат пряностей, каждый вт, едставление, шведский стол, специальное предложение, заказ по телефону, с рисом, салатом и соу, 13:00, удав боа*; подобного рода газетные обрывки с неровными краями, на фиолетовом фоне, заботли-

во расклеены в почти (но не совсем) случайном порядке по куску фиолетового картона; этот висящий возле кровати коллаж сделал твой маленький внучатый племянник, пока не научившийся читать, клочки вырваны наугад, в буквальном смысле наперерез смыслу слов, ребенком, который еще не умеет читать, включая слова *индийская еда*, а ведь он, пока что неграмотный, понятия не имеет обо всех этих индуистских божествах, Шиве, Вишну, Ганеше, Деви, Кришне, Раме, Кали (двойственной богине, благой матери-заступнице — и свирепой разрушительнице, танцующей на черепах), о карме и метемпсихозе; для него, внучатого племянника, думаешь ты, все эти знаки, буквы и цифры еще наделены неким совершенно неясным, инфантильно-магическим престижем, не может он прочесть и слов *жгучая ненависть и злоба* (а если бы мог, то не понял бы смысла), ведь эти слова, думаешь ты, утодили туда (на фиолетовый картон) по воле слепого невежественного случая, попросту в качестве материала, так что пройдут годы, прежде чем он сможет прочесть эти слова и уразуметь их значения, и только тогда, оглянувшись на дело рук своих (если оно к тому времени не пропадет), сумеет обнаружить смысл, которого сюда не вкладывал.

Ты лежишь, где лежишь, в постели. Можно включать и выключать ночник. Что толку, думаешь ты, развлекать себя мыслями. Гасишь его. Чтобы посмотреть, не пробивается ли сквозь занавески дневной свет. Как бы не так. Снова зажигаешь ночник. Или зимний рассвет все-таки призрачно брезжит? Ты не уверен. Снова гасишь ночник. Пытаешься дать зрачкам (сузившимся от резкого света лампы) шанс привыкнуть к (вероятному) новому, более слабому источнику света, идеально круглому и сводчатому (блестящему и явно непробиваемому куполу), увенчанному какой-то металлической наклейкой, чья маленькая черная тень внизу, такая же крутая, как и сам купол, придает всей конструкции сходство с лопнувшим рыбьим глазом примерно двухметрового диаметра, с тем

отличием, что из центра зрачка в данном случае разбегаются радиальные линии из камней, темных пятен, упорядоченных наподобие игральных фишек в стартовой позиции, в целом же все это напоминает, в сущности, игорный стол, рулетку, причем ряды драгоценных камней соответствуют линиям, расходящимся из подвижного центра колеса, а латунная наклейка сверху — сверкающей турели.

Но витрина, разумеется, остается совершенно неподвижной, несколько мистически, наискосок подсвечиваемая из-под широкой круговой окантовки из лакированного темного дерева, зато оттуда, где ты находишься, этажом выше, можно наблюдать за передвижениями воскресных посетителей, которые непринужденно прохаживаются, склоняются над выставленными драгоценными камнями (будто делают реверансы или отвешивают поклоны) и, прижавшись носом к стеклу либо с некоторого расстояния, читают картонные таблички с напечатанными на них названиями минералов, более или менее необычными, экзотическими и учеными. Облокотившись на перила, со своего места ты видишь (единственным зрячим глазом) блестящую плешь на макушке у одного мужчины, ты бы сказал, молодого (окаменелый череп доисторического человека имеет посреди лба заметную вмятину, кратер величиной со скорлупу яйца (возможно, след брошенного камня, вероятная причина смерти), а лишняя «н» на конце слова «Кро-Маньонн» в пояснительном тексте неуклюже вымарана красным карандашом), и наблюдая, как вокруг витрины образуются мелкие группки, изредка обступающие ее по всему периметру, будто люди собрались за круглым столом на конференцию, однако из уважения к музейной тишине переговариваются в основном шепотом (напротив, помещенный туда же для сравнения современный череп не имеет видимых повреждений, он не окаменелый и потому белее остальных, а на низкой подставке написано просто ЧЕЛОВЕК).

Внушительная входная дверь напоминает церковный портал: она будто бы призвана подчеркивать почтенный статус науки. Ты видишь (своим единственным глазом), что из земли у южной стены пробились синие, желтые и белые луковичные цветы, вероятно, так называемые крокусы, и, шурясь от бледного зимнего света, думаешь, что со времен твоего последнего посещения (лет двадцать тому назад) музей почти не изменился: тот же темно-зеленый линолеум, те же стенды из лакированного темного дерева, та же мешковина позади экспонатов, как будто это еще и музей самой музейности. Ботанический сад под открытым небом совершенно бесснежен. Он на другой стороне улицы. На крышах трейлеров установлены антенны-тарелки, сквозь полуоткрытое окно одного из трейлеров доносится музыка попеременно с разговором. Пахнет машинным маслом и жареными сосисками. Вход свободный. Твой взгляд равнодушно скользит по аттракционам, расставленным на парковочной площадке кольцом: зал игровых автоматов, карусель (медленная, старомодной разновидности, с нарядными деревянными лошадками), тир для метания и стрельбы, моментальная лотерея, автодром, карусель (быстрая, современной гидравлической модели, с гондолами в виде космических кораблей, которые не только движутся по кругу, но и качаются вверх и вниз), колесо обозрения и прочие, а еще киоски с жареным миндалем, сладкой ватой, известной также как сахарная, и тому подобным. Ты нерешительно пробиваешься сквозь бурлящую, не слишком густую, однако иногда толкающуюся толпу, одетую под этим голубым небом все еще наполовину по-зимнему, в стеганые куртки и теплые сапоги, но без варежек, шапок и шарфов, в основном подростки и молодежь, а также дети в сопровождении родителей, причем на всех лежит неуловимый отпечаток восточной части города, где парк развлечений открыл свой сезон, и ты невольно удивляешься, как близок путь (всего несколько шагов через улицу) от тишины и полумрака музейных древностей до шумного парка развлечений под весенним солнцем.

Шум карусельных механизмов, грохот обрушаемых пирамид из жестяных банок, музыка из лотерейного павильона, треск и глухие удары машинок на автодроме, воинственные звуковые эффекты в зале игровых автоматов, выстрелы в тире, скрип и гул колеса обозрения, визг и взрывы смеха, внезапные возгласы, выкрикиваемые имена или предупреждения, детский плач, кашель, разговоры, бормотание; все эти звуки, думаешь ты, поднимаются к абсолютно безмолвному, холодному голубому небу, подернутому прозрачными белыми облачками (желтоватыми, еще не набухшими, похожими на хлопковые волокна, почти как перистые облака в ярко-голубом летнем небе); а все-таки чувствуется в этой увеселительной шумихе нечто умеренное и непритязательное, скромные воскресные гуляния без малейшего намека на дионисийскую разнузданность, и оргиастическое слияние, и священное безумие, и экстаз. Ничуть не бывало.

Ты наблюдаешь за девушкой, бросающей шарики в пирамиду из мятых жестяных банок; после каждого броска она заправляет волосы за уши, а ты думаешь: по правде говоря, ее имя попало тебе на глаза по чистой случайности, ты ведь не из тех пенсионеров, которые каждый божий день с любопытством, доходящим до фанатизма, штудируют некрологи (будто им не терпится наткнуться на собственное имя: наконец-то про них в газете!), нет, и сперва ты припомнил ее новую фамилию (девушка негромко и удовлетворенно вскрикивает, попав по банкам, хотя пять нижних устояли), а уже потом заметил имя, вернее, сочетание имени (которое ты никогда не забывал) и новой фамилии, которую ты поначалу не узнал, прочитав ее рядом с именем мужа (которое ты, в сущности, не помнил) непосредственно под крестом (теперь девушка в тире начала новый раунд, а ее, очевидно, парень, дав необходимые инструкции, снисходительно наблюдает за ее стараниями; после полного промаха она сбивает самую верхнюю банку, причем все остальные банки даже не шелохнулись, что,

пожалуй, не легче, чем сбить всю пирамиду, заслужив тем самым возможность выбрать приз). Ты сделал нечто странное, совершенно тебе несвойственное, когда, признав ее фамилию, начал листать телефонный справочник, пока не отыскал ее имя, и адрес, и номер телефона (оставшиеся попытки девушка тратит безрезультатно, а ее, очевидно, парень, расплатившись с женщиной за прилавком несколькими монетами, берет в правую руку мяч и отступает на шаг; делает мощный бросок, но промахивается). Ты бредешь дальше, устремляя свой одноглазый взгляд поверх крыши автодрома, поверх мчащихся гоночных машин, которые намалеваны на его безвкусных задниках, в направлении виднеющегося за ними настоящего парка по ту сторону широкой улицы, где явно зазеленела трава, пусть низкая и неопрятная, примерно на три недели раньше срока; и все-таки, когда ты закрываешь глаза, почувствовать шеей солнечное тепло возможно разве что как следует сосредоточившись и призвав на помощь воображение. Воздух холодный.

Не мысль о смерти. Нет, это не из-за нее ты с наступлением весны всякий раз чувствуешь боль, как бы некий холодок, будто глотнул воды после камфорных драже, это, пожалуй, не столько боль, сколько отчаяние, скорбь, но из-за чего? — думаешь ты и продолжаешь: из-за непрожитой жизни; не горе или страх, вызванные тем, что спустя определенное время ты перестанешь испытывать что бы то ни было (с возрастом смерть пугает тебя все меньше), а гнетущее ощущение, что ты так ничего и не испытал, не пожил настоящей жизнью и, главное, что искать другого опыта уже слишком поздно или, скорее, что реальные события твоей жизни, возможно, расходятся с предназначавшимся тебе опытом, что ты нечто упустил и сам не знаешь, что именно, а теперь уже слишком поздно и вся твоя жизнь в каком-то смысле пошла насмарку, проигранная игра в жмурки. Но, пожалуй, хуже всего, думаешь ты, эта жуткая догадка, что иначе и быть не могло, что

ничего бы не изменилось, уж точно не в сколько-нибудь значительной степени, даже если бы ты принимал другие решения, сходиллся с другими людьми, жил в других местах, получил другую профессию, стал мужем и вдовцом другой женщины и так далее, что другое сочетание всех этих факторов не облегчило бы боль, которую ты испытываешь весной (как сейчас), и это при том, что ты вообще-то терпеть не можешь зиму, а весну, наоборот, любишь и потому радуешься ее приходу. Но с чего бы тут радоваться?

Полки снизу доверху заполнены причудливыми нейлоновыми существами кричащих расцветок, по большей части вариациями на темы обезьяны и медведя: на нижней полке мелкие и неказистые, бурые, бирюзовые или ядовиторозовые, эмбрионоподобные, на следующей — ряд игрушек покрупнее, зеленых и апельсиново-желтых, с черными отметинами вроде чумных бубонов, в сидячих позах, с острыми черными мордочками, будто у колли, и как бы распахнутыми для объятий лапками, а две верхние полки метр за метром уставлены по-настоящему крупными зверьками, среди которых попадаются слоны с синим пятнышком на хоботе, но большинство составляют какие-то еноты с поперечными, как на тюремной робе, мрачными полосками на шкурах, темно-зелеными, желтыми и рыжими, наподобие ущербной радуги, у некоторых морду пересекает горизонтальная темная полоса, то в районе пасти, будто кляп, то в районе глаз, будто карнавальная маска, среди них затесалось и несколько белых медведей с розовыми бантиками на шеях, верхними (вытянутыми вперед) и нижними лапами, а также мордами телесного цвета, черными носами и круглыми черными глазками; из-за своих белых голов и формы ушей они напоминают карикатурные изображения Дантона (в напудренном парике). Нескладный, тщедушный, сутулый юноша с тонкими усиками мерзнет (все время пряча руки в карманы) у павильона в ожидании желающих сыграть в лотерею.

Ты помнишь его наизусть. Но пока не набирал. Неудобно звонить сейчас, так скоро после смерти ее мужа, будто стервятник какой-то, думаешь ты, к тому же за те почти сорок лет, что вы не виделись, она состарилась и подурнела (как и ты). Этот довод убеждает тебя не до конца, есть что-то еще, и как раз в тот момент, когда нескладный молодой человек вручает одного из игрушечных зверей (в тифозной сыпи) пожилой, хорошо одетой женщине (та счастливо улыбается), ты понимаешь, что она нужна тебе не сейчас, она нужна тебе тогда, в тот раз, почти сорок лет назад, а не сейчас, ведь, стань она твоей сейчас, все равно оказалось бы слишком поздно, ничего из этого не вышло бы, только остатки, крохи, труха, сор, пыль совместной жизни, так называемый склон лет, вы просто сидели бы и ждали, пока один из вас умрет; рядом с общим отсутствием будущего и надежд даже переломы костей и инфаркты миокарда, проблемы с простатой и больные бедра, выпадение волос и варикозные узлы — это сущие пустяки. От вас осталось ровно столько, сколько нужно для поддержания тоски по вам прежним, будто пара почти истаявших, мигающих свечных огарков, которые еще освещают пустые бутылки и стаканы, объедки и промасленные скомканные салфетки под сиплый храп хозяина дома.

Изможденный мужчина с признаками алкоголизма на лице засовывает пробку в ствол пневматической винтовки и сам взводит курок, а потом, не глядя в глаза, передает оружие тебе. Нет, рука у тебя твердая, пока что никакого старческого тремора, видишь ты (своим единственным глазом) хорошо и не забываешь про эту хитрость — спустить курок после выдоха, в ту секунду, когда тело находится в состоянии покоя и потому (теоретически) неподвижно (а не задерживать дыхание на все время, как поступают дилетанты); правда, тебе уже не хватает гибкости, чтобы поставить локоть опорной руки на бедро. Зато не приходится зажмуривать глаз при выстреле. Ты промахиваешься. Мишенями служат какие-то

(бурые) жестянки размером приблизительно со спичечный коробок, а расстояние до них составляет метра три-четыре. Все время, пока работник тира готовит винтовку, что-то на территории парка притягивает его взгляд, и он не прекращает туда смотреть, когда передает тебе оружие. Ты опять промахиваешься. Но, если поразмыслить, это тоже не совсем верно, думаешь ты; скорее уж ты похож на собаку, на хозяйского пса, который, прошмыгнув в комнату утром, когда свечи давно догорели, жадно набрасывается на кости, жилы, пленки, застывшую подливу, холодную картошку, потому что в праздничной суматохе его забыли покормить.

Ты промахиваешься и на третий раз. Тебе вдруг становится ясно, что, какой совершенной техникой ни владей, как ни концентрируйся и как ни старайся, попасть по мишеням пробкой, тем более прямо из дула, совершенно невозможно, а если вдруг и получится, то в результате чистого везения, по сути это тот же лотерейный аттракцион, так как пробка в отличие от настоящего снаряда, во-первых, неуправляема, она не закручивается вокруг своей оси еще внутри ствола (как пуля винтовки), а во-вторых, в силу своей легкости движется, сколько ни бейся, по крайне прихотливой баллистической траектории, приводящей к цели разве что в виде исключения. С тем же успехом пробками можно бросаться или плевать. Нет, собаки не ведают, что такое праздник, а потому не понимают, когда вечеринка заканчивается; тебя правильнее сравнить с неутомимым хозяйским собутыльником, который, проснувшись ни свет ни заря, но еще не вполне проспавшись, начинает выискивать по бутылкам опивки, осушать полупустые стаканы, угощаться засохшими кусками торта и, страхи-вая в ладонь крошки с блюда (гастролит: гладко обточенный черный геологический объект размером с кулак; надпись гласит, что некоторые динозавры для лучшего пищеварения заглатывали камни, которые теперь находят вместе с окаменелыми скелетами), ссыпать их в рот, роняя на мятую потную

рубашку и съехавший галстук, а через какое-то время принимается тормошить спящих друзей (или недругов), выкрикивая нечто бодрое и задорное, гнусаво балагурия и дудя в бумажный свисток-язык, все эти звуки, не находя ответа, одиноко разносятся по комнатам, где утреннее солнце начинает освещать остатки пирушки во всех подробностях, с беспощадной ясностью, но он не унимается, веселье для него не закончилось, оно не заканчивается никогда. Нет, пусть тебе уже семьдесят один, но ты не смирился и хочешь, наоборот, урвать даже самый жалкий, самый тошнотворный осадок протухшей любви (но в этом ли вообще дело?), все еще плещущийся, быть может, на доньшке твоей жизни, оставлять всякую надежду — не твой конек. Как бы часто тебя ни посещало подобное желание, опускать руки — это сверхчеловеческое искусство, думаешь ты, надо стать кем-то вроде бога или святого, чтобы сдаться, удовлетвориться заурядными радостями повседневного прозябания, донельзя измельчавшими, урезанными почти до неразличимости, тогда как ты жаждешь и, очевидно, до конца своих дней будешь жаждать этих презренных распоследних последствий времени, опыта, жизни или что они там символизируют.

Ты промахиваешься, как и следовало ожидать, во все оставшиеся разы. Пробка. По капризным траекториям. Камень, продвигающийся сквозь кишечник вымершего доисторического животного. Стоя за прилавком, мужчина с признаками алкоголизма на лице безотрывно и неумоимо за чем-то или кем-то следит, но ты, наконец повернувшись, затрудняешься установить, на что или на кого направлен его взгляд. Весь умеренный, однако назойливый парковый гам, как бы стихший на то время, пока ты был поглощен стрельбой, вдруг разом возвращается; ты видишь (своим единственным глазом), как прямоугольные навесы от солнца, укрепленные на шестах над гондолами карусели, ярко-красные и шпинатно-зеленые, взмывают к бледному весеннему небу,

видишь, как ровно они поднимаются, а потом вдруг ухают вниз, непрерывно вращаясь, вздымаясь и опускаясь, видишь (своим единственным глазом) раздуваемые ветром волосы катающихся, слышишь крики этих (можно сказать) путешественников между восторгом и ужасом, не прибывающих (можно утверждать наверняка) ни в какой пункт.

Вытянутые, замысловатые, переплетающиеся тени стволов и голых ветвей на краю площадки незаметно скользят (светлыми и темными пятнами) по фигурам немногочисленных пешеходов, идущих в отличие от тебя не оттуда, а туда, в залитый низким солнцем парк; тротуар забран полосатой, наподобие гребенки, тенью железной ограды, заключающей, будто в клетку, тени древесных стволов с их ветвистыми продолжениями, которые устилают открытую площадку и улицу, растягиваясь и удлиняясь до неузнаваемости; на асфальте, таким образом, можно наблюдать почти полную теневую проекцию ботанического сада, и ты, шагая через эту тень, по-прежнему улавливаешь вопли с каруселей, на ходу надевая и тщательно заправляя в рукава вязанные перчатки, которые до этого оттопыривали карманы твоего пальто; как-никак на дворе все еще зима, весной едва повеяло.

Ты снимаешь трубку, на ощупь холодную (снова стянув перчатки; наизусть ты номер все-таки не помнил или, вернее, не доверял собственной памяти, на всякий случай пришлось посмотреть (своим единственным глазом) в справочнике, чьи тонкие страницы, как вскоре выяснилось, листать в перчатках почти невозможно; пришлось снимать). Раздается типичный для таксофонов пустой и требовательный гудок: нацеленное на тебя звуковое двоечтие. Нет, никуда ты не звонишь. Ты так и стоишь в будке, глядя через стекло, пыльное, захватанное, исцарапанное, исписанное фломастерами, на другую сторону улицы, на пунцовую неоновую вывеску со словом БИНГО, которая в отличие от орнаментальных — в форме цветов,

например, — гирлянд над парковыми павильонами не просто светится, а горит ярко, как ночью. По той простой причине, что этот фасад, соображаешь ты, находится в тени, в густой тени под низким весенним солнцем, ты наблюдаешь (своим единственным глазом), как вывеска гаснет, загорается и гаснет, без какой-либо закономерности, где-то между фонарными столбами номер двадцать пять и двадцать шесть (считая от шиномонтажной мастерской у самого подножия склона) или, может, думаешь (в ужасе) ты, между столбами номер двадцать шесть и двадцать семь, неужто придется возвращаться аж к столбу номер десять (чьи место и порядковый номер не подлежат никакому сомнению), чтобы проверить? нет! — думаешь ты, ведь теперь тебе отчетливо вспомнилось местоположение двадцатого номера (у погрузочной платформы оптового торговца овощами), а твоя безупречная память позволяет молниеносно прокрутить в уме остальные пять, представить каждый в отдельности и положительно убедиться, что вон тот (по всей видимости) светоотражатель впереди, в полумраке, маячит между столбами двадцать пять и двадцать шесть.

Не крихтеть, не отдуваться, во всяком случае не слишком, когда после долгого подъема ты, свернув за дощатый забор, наконец-то вырulingаешься на относительно плоскую землю, очередное испытание на прочность выдержано с блеском, еще бы, с твоим-то крепким сердцем, богатырскими легкими и здоровым, кипучим кровообращением, как у двадцатилетнего, думаешь ты, ну хорошо, тридцатилетнего, во всяком случае куда лучше, чем у среднестатистического отъезавшегося, проспиртованного, прокуренного, квелого сорокалетнего тьюфяка, который выбивается из сил, поднявшись на два пролета в свою душную квартиру, где, дурясь от застоявшегося воздуха, поглощает убойную порцию разваренных консервов, после чего заваливается на диван перед телевизором, будто на одр болезни или в гроб, который пока не закопали, и такую-то немочь, сколь многочисленную, столь и малоподвижную, приходится

всю жизнь тащить на носилках горстке здоровых людей, паразиты, да, гнусные паразиты, думаешь ты, хотя нельзя исключать, что их можно спасти, вернуть к жизни и здоровью, если бы кто-нибудь встряхнул их, растолкал, выпотрошил сигареты, вылил пойло, выбросил тухлятину, погнал бы их в лес, тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться, и на сырую диету, и тренироваться, бегать кросс, чтоб семь потов сошло, а потом еще немного, на поверку такие сачки всегда выносливее, чем кажутся, а потом под холодный душ, бодрящий и укрепляющий, и снова бегать, без конца бегать на здоровом лесном воздухе, смола, хвоя, перегной, шишки, лосиный навоз, приятно чавкающие топкие впадины; с удовольствием, думаешь ты, выпроводил бы их пинками (сил у тебя по-прежнему хоть отбавляй!) из диванной трясины, спихнул с этих зыбучих лежбищ, под конец бедолаги только и могут, что трепыхать свободными до поры до времени руками, торчащими из подушек, а затем вообще остается одна голова, бледная, бескровная от вечного сидения в четырех стенах, на этом этапе способная только смотреть телевизор или читать пыльные книжки (вместо здоровой, широко раскрытой книги природы!), безрукие, безногие дегенераты, эти несчастные, пропащие головы, которые из последних сил ворочают своей единственной подвижной частью, глазами, беспомощно водят ими из стороны в сторону, вверх и вниз, а скоро и вовсе целиком погрузятся в диванные зыбучие пески, какое омерзительное, трупное состояние, нет бы бороться, как подобает мужчинам, всем своим здоровым и крепким телом, всей своей железной волей, с лианами и дикими зверями в джунглях! с кручами и ущельями синеющих на горизонте гор! с бескрайними лесными просторами! с каждой крохотной секундой на стадионах! им бы водружать флаги в полярных льдах! им бы покорять Северный и Южный полюс! не брюзжа! не ныча! не ропща! — думаешь ты, приближаясь к владельцу отражателя, который как раз достиг (пешком) освещенного участка у фонарного столба номер двадцать пять.

Вот бы Гарм трусил рядом. Молодой, совсем еще юнец, как ты видишь теперь, ему нет и двадцати, одет для прохладного летнего вечера слишком легко (учитывая, что он идет (быстро, но в то же время расхлябанно, враскачку, кое-как), вместо того чтобы бежать), будто только что встал с кожного кресла (небось, развалился и бездельничал, лопаю сладости и чипсы) и вышел в чем был, думаешь ты; разумеется, жирный и неуклюжий, походка ленивая, косящаяся и вихляющая, лицо тоже на редкость безобразное, с маленькими прищуренными глазками (наверное, близорукий, но тщеславие не позволяет носить очки), крупный вздернутый нос наподобие пятачка, с почти вертикальными ноздрями (вроде отверстий в розетке), скошенный подбородок, пухлые щеки, но телосложение явно могучее, настоящий здоровяк, а в довершение ко всему ты слышишь и видишь, что он смеется, так и есть, сдавленный смех клокочет в горле и в носу, не над тобой ли хватает у него наглости потешаться, но — ха! — думаешь ты, физическая форма у тебя для твоих лет столь отменная, что эту семнадцатилетнюю ходячую гору мусора, начини она нарываться, ты обезвредил бы играючи, и, если бы сейчас, допустим, этот толстый поросенок преградил твоему велосипеду путь к фонарному столбу номер двадцать шесть, ты просто нанес бы один из своих некогда знаменитых прямых левой (которых никто не ждал от правши) в рыхлый подбородок, а затем сокрушительный боковой справа по заплывшей жиром черепушке, чувствительный удар в пах и увесистый — в солнечное сплетение, ты попрыгал бы по его грудной клетке, вверх-вниз, всей тяжестью (к сожалению, ничтожной по сравнению с массой его тела), пока не раздробил, не разможил бы каждую косточку в этой туше, не оставляя жалкому нахалу, думаешь ты (и направляешь велосипед чуть ближе к проезжей части, подальше от него), ни единого шанса. Кажется, он полностью погружен в свои мысли. Поравнявшись с тобой, он лишь бросает на тебя мимолетный взгляд.

Вот бы Гарм весело бежал рядом. Далее прямым курсом к столбу номер двадцать шесть (и уже виднеется номер двадцать семь), надо следить, чтобы колеса не соскользнули с выщербленной асфальтовой кромки в кювет — мало-пригодную и небезопасную для езды прослойку из песка и мелких камешков между дорожным покрытием и клочьями травы, уже пожелтевшими, как ты успеваешь заметить, или побуревшими, или ставшими изжелта-бурыми, или избура-желтыми. Вроде желтого гороха. Или бежевого. Восхитительная игра лошадиных мускулов, грация, сила этих стройных, блестящих от пота, взмыленных нервных созданий (способных из-за малейшего раздражителя пуститься галопом); звуки ипподрома за высоким дощатым забором, которые ты столько раз слышал, проезжая мимо на велосипеде, стук копыт напоминает поначалу лишь нетерпеливую дробь пальцами по столу, затем, на невидимом из-за забора повороте, перерастает в мощный, хотя и приглушенный грохот, будто одновременно забила дюжина незримых резиновых молотков, а после поворота понемногу ослабевает, точно стучавшие молотками выдохлись, и вот опять доносится только дробь пальцами по столу, за которой, наконец, совсем или почти ничего; эти великолепные животные и — отвратительная мысль, думаешь ты, — то, что они везут в тонких, будто из ивовых прутьев, гоночных колясках (соединяясь под сиденьем, оглобли изгибаются наподобие арфы, струнами которой выступают мышцы, жилы и связки лошади, а еще вожжи) груз нездоровых, опустившихся мужиков в кричащих костюмах, нередко на грани ожирения, этот дедвейт, под которым изящные, наподобие велосипедных, колеса двуколок в буквальном смысле гнутся, не говоря уже о том, думаешь ты, на редкость паскудном свинстве, которое игроки разводят у судейской вышки и на трибунах, реки пива, всякое отребье, гнусавые выкрики во время спурта, долбеж по ограде перед финишем, грязные, мятые купюры, неловко выживаемые из еще более грязных карманов

ветхих и потрепанных пальто, пустые бутылки из-под самого дешевого алкоголя по углам, площадная брань, низкопробный язык, не говоря о том мусорном буране, думаешь ты, о том шторме или смерче из мусора, которым игроки, постоянно бледные или побагровевшие, прямо-таки фонтанируют, нескончаемый ливень квитанций из неопрятных, немытых рук, после нескольких забегов эти листки устилают все вокруг, будто снег, расплюснутые снежные хлопья, умершие естественной смертью ценные бумаги, миллионные акции, упавшие за пять минут до нуля и разбросанные, раскиданные повсюду, будто в конечном счете это и есть подлинная стихия игроков, которым недостаточно прости зайти туда и шлепать, переходить это разливанное море выброшенных бумажек вброд, им не придется залезть в него по самые подмышки, нет, плескаться, бултыхаться, плавать в этой бесшумной лавине утрат, в этой вспененной пивной клоаке низменной страсти. Какая насмешка, думаешь ты, смертельное оскорбление гордым животным, которые мчались некогда, дикие и счастливые, не объезженные человеком, по еще не поруганной земле, как свободные индивиды! суверенные владельцы своей судьбы! повелители своего мира!

Правда, после тяжелого подъема во рту все слипается, и ты, перестав крутить педали, отхаркиваешься и сплевываешь (слегка продолговатый сгусток волокнистой слизи, если откровенно) в сторону фонарного столба номер двадцать семь (а не какого-нибудь другого; приятно знать, что это, например, не столб номер двадцать шесть или двадцать восемь, или, что за нелепость! номер тридцать пять или девяносто семь!), последнего перед тем, как начнутся огни поперечной, более крупной дороги, а счет придется начинать заново (и не забыть сложить оба числа, чтобы проверить, делится ли сумма на два, так как от этого зависит возможность после заключительных приседаний наконец поужинать. Если результат окажется четным: женьшень, солодовый экстракт, брюква и турнепс, если

нечетным: турнепс, брюква, солодовый экстракт и женьшень, а если никакого результата: ляжешь без ужина).

У него, думаешь ты, были достойные похороны. На свежем воздухе. Под шумящими елями. Среди скачущих зайцев. Каменная плита была такая тяжелая, что пришлось съездить обратно за ломом; да, намаялся ты с этим погребением изрядно, а все-таки не напрасно, ведь благодаря массивному камню не так-то просто будет какому-нибудь проходимцу осквернить могилу, а сам ты теперь, во время своих неутомимых лесных прогулок, заглядываешь сюда, присаживаешься на плоскую плиту (подложив крышку рюкзака), чаще всего весной, когда солнце начинает припекать, и достаешь термос и сверток с едой, чтобы в задумчивости перекусить морковью и выпить какао, ты наверху, на камне, живой, в отличной форме, на весеннем солнце и весеннем ветру, а он, мертвый пес, внизу, под землей, в темноте и безветрии, твой верный друг, соединившийся с природой, и ты вспоминаешь, как он смиренно, не позволяя себе ни единого поскуливания, приносил к кровати твои резиновые сапоги (а зимой тяжелые рантовые ботинки) по воскресеньям, каждый раз ровно в семь утра, в прежние дни, когда ты еще работал на бойне по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам, но не по воскресеньям, воскресенье отводилось для чудесной долгой прогулки в лесу; погруженный в подобные мысли, ты сидишь на каменной плите и с трудом глотаешь кусочки моркови, хотя и прожеванные самым тщательным образом, а кроме того, надо как следует высморкаться, одинокий трубный звук сквозь лесной шум, прежде чем пойти дальше, в тоске по Гарму, но все-таки с уверенностью, что он обрел достойный последний приют. В следующем воплощении ты хотел бы стать собакой. Полицейской! Или ездовой! Только не поводырем. Пришлось бы вдыхать слишком много выхлопных газов. То ли дело арестовывать преступников, вцепляясь мертвой хваткой! Или спасать лыжников со сложными открытыми переломами, из

которых топорщатся трубки костей! Вы с Гармом могли бы, так сказать, поменяться местами, так что в следующей жизни он оказался бы человеком, а ты собакой, и, когда ты бы издох, он схоронил бы тебя в лесу, под солидной каменной плитой, и ты, мертвый пес, покоился бы себе внизу в счастливом сознании, что хозяин регулярно приходит посидеть наверху, на плите, с термосом и свертком пищи, чтобы почтить твою блаженную память.

Теперь столб номер двадцать восемь, последний в этом ряду; поворот закончился, и дощатый забор ипподрома сменился высоким сетчатым, с колючей проволокой поверху. Подняв козырек кепки, ты различаешь своим орлиным зрением насекомых, которые роятся вокруг фонарного стекла над головой, теперь тебе отчетливо виден закрытый бакалейный магазин с неоновой вывеской, в этот час светящейся приглушенно, можно разглядеть яркую, почти флуоресцирующую цветную бумагу со специальными ценами, жирно выведенными маркером, на высоких стойках в тамбуре из стекла и стали, между наружной дверью и торговым залом, эти крикливые предложения всякой всячины, примолкшие на ночь, а прямо по соседству ты видишь дом престарелых, серую многоэтажку, чья глухая индифферентность противоположна цветастой зазывности магазина с его большими окнами, ты думаешь о том, что кое-кто из тамошних стариков, а всех их привело туда наплевательское отношение к своему здоровью, хотя многие вообще-то лет на десять моложе тебя (то есть им слегка за семьдесят!), почти никогда (очевидно) не выбирают дальше этого — ближайшего — магазина, что каждый день, или через день, или реже они спускаются на лифте к выходу, бредут, опираясь на трости, или костыли, или даже ходунки, по мощеному переулку, иногда берясь за серое металлическое ограждение, пересекают парковку и заходят в магазин, изо дня в день все тот же магазин, совершают покупки и либо с сумкой на колесиках, либо с полупустым пакетом, который они несут

в руке или вешают на руку, держащую трость, или на ходунки, возвращаются той же дорогой, в обратном направлении, через парковку, по улочке, в главную дверь и вверх на лифте, пока, наконец, не окажутся у себя в комнате с видом на значительную часть города и тысячи городских магазинов, из которых на практике имеют возможность делать покупки в единственном — все том же магазине у дома престарелых, ограниченное привычным перемещением между домом престарелых и магазином, магазином и домом престарелых до тех пор, пока однажды всякое движение не прекратится.

Так и есть, один из этих мерзопакостных автомобилей, на полной скорости, лучше на всякий случай не пересекать главную дорогу, пока эта адская машина не проедет. Пережидая опасность перед магазином под хлопанье тросов по флагштокам (постепенно тонущее, пока совсем не потеряется, в реве мотора), ты делаешь выдох и разглядываешь землю под ногами (первые березовые листья, редкие и желтые, уже пристали к ночному влажному асфальту, будто клейкие памятки, напоминание о грядущих холодах), чтобы не смотреть на раздражающий неоновый свет, но удержаться не получается, эта люминесцентная лампа в окне магазина непрерывно мерцает и вспыхивает, на первый взгляд бессистемно, но все-таки с некоторой, так сказать, странной, труднопрогнозируемой тенденцией к ритмичности; окно темное, потом освещается, ненадолго темнеет, освещается, темнеет надолго, освещается, ненадолго, надолго, темнеет совсем ненадолго, так что почти незаметно, между двумя вспышками, темнеет.

чтобы много позже снова вынырнуть с другой стороны. А еще оттуда, свысока, ему виден был сам переход от города к загороду, чем дальше от городского центра, тем больше зеленых участков и меньше зданий, тем сильнее кондоминиумы и частные дома прореживают блочную тесноту, а скупенная застройка (любых типов) постепенно

сменяется уединенными хозяйствами в окружении просторных полей и озер, к северо-западу же простираются лесистые склоны и холмы, которые, громоздясь друг за другом, перерастают в горные вершины и обрывы, из-за дымки и расстояния теряющиеся вдалеке.

По-царски. Как царь. С этой высоты. Ведь созерцая (думает он, лежа в темноте, или полутьме, или тени и потя) город внизу, под собой, ты как бы покоряешь его, царишь над ним, ты владыка, весь город тебе подвластен, это начальная сцена кинофильма, в которой ты, явившись из глубинки, из самой что ни на есть дремучей деревни, если угодно, из хлева и свинарника, если угодно, едва приблизился к городской черте и с высокого холма видишь раскинувшийся внизу, у твоих ног, город, все великолепие мира ждет тебя, ты найдешь свое счастье где-нибудь в многообещающем мерцании банков, отелей, магазинов одежды, ресторанов, рекламных агентств, страховых компаний, супермаркетов, автосалонов, парковок, нефтяных компаний, театров, полицейских участков, шоколадных фабрик, издательских домов, похоронных бюро, авиакомпаний, спортивных комплексов, киностудий, туристических агентств, студий звукозаписи, предприятий по производству компьютеров, фирм-экспортеров и фирм-импортеров, школ танцев и очистных сооружений, в том или ином месте, может, вон там, на одном из бесчисленных этажей одного из небоскребов (кажущихся пока что лишь темными башнями на фоне поблескивающей морской глади), там-то ты и найдешь свое счастье, не говоря уже обо всех интересных людях, которые тебе повстречаются, не говоря уже о том, что однажды где-то там, в городской фата-моргана, эльдорадо, клондайке и сурья-мурья<sup>10</sup>, ты встретишь избранницу своего сердца. Взглянув под ноги,

10 Сурья-Мурья (также Сорья-Мория) — волшебный замок из норвежских народных сказок.

он увидел на земле комок мягкого мороженого, растаявший и расплюснутый велосипедом, кремово-белые отпечатки тянутся прочь с равными промежутками, по одному следу на каждый полный оборот колеса (причем в каждом пятне четко отпечатались полоски шины, а масса мороженого под давлением жесткой, наполненной воздухом резины выступила по обе стороны небольшими валиками, примерно с такой же динамикой, которая наблюдается при попытке откусить, не снимая глазированной «крышечки», от целого куска торта «Наполеон»<sup>11</sup>), пятна мороженого, которые замедляют окружность колеса и, становясь с каждым разом все мельче, истончаясь и бледнея, мало-помалу превращаются в серовато-белесые тени и, наконец, исчезают.

Он забыл взбить подушки, но сил сесть у него нет. Вспышка света в настенном зеркале: сквозняк на секунду приоткрыл занавески. Подзорная труба, достаточно мощная для того, чтобы показывать не только отдельный дом, но и отдельное окно, и не только это отдельное окно, но и отдельного человека за этим окном, и не только этого отдельного человека, но и — превратившись в своеобразный микроскоп для душ — мысли этого отдельного человека, чаяния, желания, настроения, воспоминания и так далее, а еще, думает он, с той горы подобный прибор показал бы запертого в двух комнатах с кухней старика без гортани, который лежит в постели, вспоминая вылазку минувшего дня (при помощи двух тростей, по одной в каждой руке), соотнося упоительный вид на город с отсутствием каких-либо чудесных и захватывающих событий в собственной жизни, думая, что если бы в этот момент там, наверху, на террасе перед ресторанчиком стоял юноша и смотрел на город (где этим поздним летним вечером как раз начинают зажигаться фонари, неоновые вывески и окна), чув-

11 В норвежском варианте торт «Наполеон» имеет глазированный верхний корж и толстую кремовую прослойку.

ствуя от этого зрелища некий пьянящий озноб предвкушения и жажды приключений, то он не знал бы ровным счетом ничего о старике без гортани, который лежит там прямо сейчас, на самом деле, не в городе вообще, понятном как безграничная возможность, а именно там, в своей постели, в темноте, и думает, что, судя по всем доступным сведениям, это предчувствие чего-то чудесного, к сожалению, очень скоро сойдет на нет за неимением подпитки, чтобы не возникнуть больше никогда. Нет, чтобы возникать и отмирать, возникать и отмирать, беспрестанно.

Требуешь много, а получаешь мало. Но хотя бы такую малость. Такую малость, как собственный голос, пусть даже самый противный в мире, думает он, гадкий, пронзительный, невыносимый, но внятный голос, не для того чтобы теплой летней ночью шептать женщине на ухо красивые слова любви, а для того чтобы иметь возможность заказать кофе и вафли, громко и отчетливо. Не для того чтобы теплой летней ночью шептать женщине на ухо красивые слова любви? И это тоже. Или, скорее, думать о том, что когда-то давным-давно, в тот или иной раз он мог бы это сделать, но был не в состоянии. Он все думает и думает. Слишком много думает. Он закрывает глаза.

Он слышит грохот и голос. В иные вечера они сюда не доходят. Зависит от направления ветра, наверное. Тяжелое металлическое громыхание с долгим послезвучием, как будто ударили в тарелки, затем тишина, нередко продолжительная, нарушаемая голосом из репродуктора, твердым и повелительным, наподобие офицерского, но команду, или сообщение, или инструкцию расслышать невозможно, отдельных слов не разобрать, хотя это, очевидно, человеческий голос, раздающийся из репродуктора, перемежаемый, а иногда сопровождаемый грохотом, этим лязгом сшибающихся вагонных буферов, тонн стали, бьющихся о тонны стали, так называемая сорти-

ровочная горка на сортировочной станции, он знает, вагоны надвигаются на горку по наклонным рельсам и отпускаются, скатываются под собственной тяжестью через сплетения железнодорожных путей (которыми управляют с поста автоматической централизации, оборудованного схематичной картой участка с множеством горящих и мигающих лампочек); вагон за вагоном набирается целый товарный состав, в душной летней ночи, непрерывные столкновения буферов. Там работают, а он лежит здесь.

У всех наземных млекопитающих есть, кажется, отмеренное число ударов сердца, исчерпаемый запас, склад, бурдюк с водой для скитаний в пустыне, мешок с песком для полета на воздушном шаре, примерно девятьсот миллионов, девятьсот миллионов ударов, мышь и слон, если мерить в ударах сердца, живут одинаково долго, ведь мышинный пульс быстрее; в сущности, следовало бы, думает он, лежа в темноте, измерять человеческий возраст в ударах сердца, можно было бы говорить: на что ему плакаться, он же просто мальчишка, не больше четырехсот миллионов ударов, — а если бы в каком-нибудь другом летосчислении это равнялось такому же числу лет, то сколько миллионов лет было бы ему самому? Как будто он был стар еще до появления на свет, как будто он успел состариться прежде, чем возникло само человечество. Вся его жизнь пошла насмарку. Если бы он никогда не рождался, ничего бы не изменилось. Никто не тоскует по тому, кто никогда не рождался, а нерожденный не тоскует по жизни. Теперь он почитает. Ему нравится читать на сон грядущий, особенно путевые заметки, о маршрутах, по которым он не путешествовал и не будет путешествовать никогда, несовершенные странствия, всего пять-десять минут перед сном. На целую книгу уходит до полугода. Он продолжит читать о полярной экспедиции, о том облегчении, с каким воспринимается повышение температуры с минус сорока до минус восемнадцати; он будет лежать и читать об этом перед сном,

в духоте летней ночи. Ружье стоит у кровати. Он подготовлен. Он зажигает ночник на прикроватном столике. Свет лампочки зловеще, прерывисто дрожит, будто вместо нитей накали в ней один или несколько светлячков, мечущихся перед смертью: почти гаснет, вспыхивает, снова съезживается, разгорается и, лихорадочно помигав напоследок, окончательно гаснет. Придется сегодня обойтись без чтения. Лампочку можно поменять завтра.



Тур Ульсен  
*Расщепление*

Редактор  
*Станислав Снытко*

Корректор  
*Мария Янушкевич*

Дизайнер  
*Максим Плоскирев*

Издательство «Носорог»  
[www.nosorog.media](http://www.nosorog.media)

По вопросам оптовой закупки книг издательства  
«Носорог» обращайтесь по адресу [sales@nosorog.media](mailto:sales@nosorog.media)

Издательский дом «Мамихлапинатана»  
ООО «Мамихлапинатана»  
123022, г. Москва, пер. Столярный, дом 3, корпус 1  
тел.: +7 499 652-51-43  
e-mail: [hello@artel.media](mailto:hello@artel.media)  
[www.artel.media](http://www.artel.media)

Книга набрана шрифтами Jappon Франтишека Шторма  
и Transgender Grotesk Александра Черепанова

Бумага Lux Cream StoraEnso 80 г/м<sup>2</sup>  
Заказ №9872. Тираж 1000 экз.  
Формат 145×200 мм

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ».  
432980, Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14.

**МАМИ-  
ХЛАПИ-  
НАТАНА**



